

Н. УЛЬЯНОВ

СКРИПТЫ



ПАМЯТИ
дорогого учителя
академика

Сергея Федоровича ПЛАТОНОВА

Н. УЛЬЯНОВ

СКРИПТЫ

ЭРМИТАЖ

1981

Николай Ульянов

СКРИПТЫ

(Сборник статей)

Nikolay Ulianov

SCRIPTY

(Collection of articles on Russian history)

Copyright © 1981 by author N. Oulianoff
All rights reserved.

Library of Congress Cataloging in Publication Data

Ul'ianov, N. (Nikolai), 1904-
Skripty: sbornik statei

1. Russian literature in foreign countries—History and criticism—Addresses, essays, lectures. 2. Soviet Union—History—Addresses, essays, lectures. I. Title.

PG3515.U4

891.7'09

81-19999

ISBN 0-938920-05-7

AACR2

Published by HERMITAGE

2269 Shadowood

Ann Arbor, Michigan 48104, USA

1

ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Не будем доискиваться точных дат появления первых литературных произведений новых эмигрантов. Одни начали печататься раньше, другие позже, но средний литературный возраст их не превышает десяти лет. За эти десять лет многие сделались сотрудниками толстых журналов, составили чуть ли не половину авторов, печатавшихся в Чеховском Издательстве. Кое-кого перевели на иностранные языки. Путь их вполне заслуживает быть отмеченным. Но, говоря о нем, как не вспомнить того особенного любопытства, с которым встречены были первые опыты "новых"!

— Ди-Пи умеют писать!..

Некоторых это повергло в такое изумление, что ни талантов, ни мастерства не спрашивали, награждали, как в Советском Союзе, за одно рабоче-крестьянское происхождение. Кто успел тогда сунуть что-нибудь в печать, снял урожай сам-тридцать. Таков первый том "Дениса Бушгуева". Второй остался незамеченным и никакого шума не вызвал. Он появился в такое время, когда любезно покровительственная улыбка старой эмиграции сменилась другой миной. Появилось настороженное отношение к дипийному творчеству, вежливый, но несомненный холодок и совсем невежливое замалчивание, на которое были жалобы, даже в печати. Сказалась, конечно, разница культур, школ, мировоззрений, разница судеб, но были мотивы и не связанные с этими различиями. Я не могу представить себе культурного отличия Д. Кленовского от поэтов старой эмиграции, а если его и можно обнаружить, то не всегда это будет в пользу "старых". А ведь к Кленовскому-то и существует самое обидное отношение.

Конечно, крупные люди не ответственны за это, но что-то и в них есть от общего холодка. Узнаем же теперь, что Бунину понравились "Беспризорники" Воинова. "Как пишет с... с...!" Признание сделано, однако, в частном письме не к автору, а к другому лицу, и вряд ли дошло, в свое время, до Воинова. Между тем, оно могло стать его литературной судьбой; человек, в самом деле, мог начать писать хорошо. Знаем, что Алданов кое-кого ценил, да, вероятно, и у других корифеев был интерес к опытам "новых". Но ни один не проронил слова в печати.

Не будь нескольких "молодых" из старой эмиграции, вроде Н. Н. Берберовой, Р. Б. Гуля, Н. Е. Андреева, уделявших внимание дипийной продукции, она осталась бы без всякого присмотра. Ласкали ее "на стороне", ласками нелитературными — солидаристы, монархисты, комитеты освобождения. От ласк их пошли черносотенцы, эмигрантские комсомольцы, герои холодной войны, но подлинные поэты и писатели терялись и чахли в их буйной поросли.

Говорю это не в укор "маститым", а для полноты фона, на котором росла и вытягивалась дипийная словесность.

Последнее время можно наблюдать что-то вроде оттепели: нет-нет, да кого-нибудь и упомянут, даже похвалят. Особенно значительным, прямо-таки историческим, представляется выступление Г. В. Адамовича, посвятившего в "Русской Мысли" небывалый по размерам (целых четыре столбца!) отзыв о рассказах Г. Андреева и Л. Ржевского. Перед затуманенным благодарною слезою взором так и встает микеланджеловский Господь Бог, протягивающий перст и дающий жизнь первому человеку.

Свершилось! Признаны! Замечены!

Это событие важно и для настоящей статьи, оно избавляет автора от необходимости оправдывать и мотивировать желание сказать несколько слов о ново-эмигрантской литературе в ее "десятилетний юбилей".

* * *

Надо ли, однако? Ведь появилось уже "незамеченное поколение", неужели заводить речь еще об одном, менее замеченном? Не слишком ли много? Не лучше ли думать о

единстве, а не о расчленении? Конечно, лучше. Но для культурного разрешения вопроса время давно потеряно. Расчленение совершилось. Отчасти, в силу общей неслиянности новой эмиграции со старой (она и через тридцать лет будет "новой"), но больше потому, что с обеих сторон проявлена воля к расчленению. Рецепт "паклю есть" вполне уравнивается недавним бунтом противоположной стороны против "неактуальности", "несовременности", "затхлости" старого писательства, требованием выбросить в мусорную яму Бунина, Георгия Иванова, Ремизова, Вячеслава Иванова. Чесались руки перевернуть вверх дном эту эмигрантщину, научить ее чему-то, показать, что значит настоящая литература... Вероятно, и тоска по Маяковскому, которого-де нехватает эмиграции — того же происхождения.

По этой или по другой причине, разница двух писательских поколений нашла узаконение в первом опыте истории эмигрантской литературы Г. П. Струве, куда "новые" вовсе не попали.

И все же, ни эти соображения, ни таланты и заслуги не дают еще основания говорить о писателях Ди-Пи, как об особой группе. Интерес к ним вызывается общей судьбой русской словесности за границей. Дело идет к тому, что она, не сегодня-завтра, попадет в руки Ди-Пи.

Через какие-нибудь четыре-пять лет мы останемся совсем одни. Старая формация уйдет, и ее уход будет беспощадным для нас. Она унесет писателей, редакторов, критиков, унесет читателей — те двести, триста человек, что еще следят за русским печатным словом, унесет журналы — свои создания. Не оставит ни кола, ни двора. Создавайте сами. А по части создания за нами не числится крупных дел. Не только оперы, балета, театра, но сколько-нибудь приличной библиотеки не устроили. Пришли на все готовое. Ни одного умственного движения, вроде Евразийства или Нового Града не породили, ни одного Дягилева из нас не вышло, ни одного крупного редактора, вроде М. М. Карповича. Даже в самой позорной и ничтожной области эмигрантской жизни, именуемой "политикой", никакого своего слова не сказали, рассосались по старым партиям: пошли в солидаризм, либо ввязались в нескончаемую драку монархического ерша

с социалистическим карасем. Размеры ожидающей нас катастрофы ужасны. Мы останемся "голыми людьми на голой земле".

Уже сейчас встает вопрос: стоит ли писать? Ведь народилось то, что в десять раз хуже молчания, хуже небытия — никчемная литература. Она, как грибок, как плесень ползет по журналам, по газетным листкам, превращая их в резервуары дряни, перед которыми старушка "Нива" выглядит, как collection de maîtres. Злые языки винят старческие дома во Франции: это, де, оттуда устремляется губительный поток. Может быть. Но почва для худой травы благоприятна повсюду, а прополкой никто не занимается. Через несколько лет словесный бурьян покроет все редкие васильки и маки, что еще виднеются в нашем поле.

Не сомневаюсь, среди новых эмигрантов найдутся люди, предпочитающие стоическое вскрытие вен жалкому погружению в болото пошлости и варварства. Но большинство, вероятно, захочет красоваться и, может быть, мечтает о новом литературном расцвете, подсчитывает силы. Есть у нас Багратионы!..

К таким виталистам во что бы то ни стало бесполезно обращаться с мыслями и рассуждениями. Мое слово к тем, которые не на всякую жизнь согласны.

Какие соображения можно привести в пользу продолжения эмигрантской литературы? По-моему, только одно; его лучше всего выразить словами Наполеона: "если в пушке осталось последнее ядро, его надо выпустить, быть может, оно-то и поразит врага".

Утешительного в этой философии не много, но это единственная наша философия. Мало надежды "поразить", вернее, пролетим мимо и шлепнемся в лужу, но какое-то "быть может", все-таки, остается. Если новоэмигрантская литература захочет сыграть роль последнего ядра, она должна твердо знать, что существование ее определяется только этим "быть может".

Полагаю, что это не так уж мало. Наполеоновское "быть может" совсем не то, что русское "авось". В устах человека, обязанного своими победами умению стрелять, выпуск последнего ядра — не простой пиротехнический эффект. Это значит, что не упущена ни одна из действительных возможностей "поразить".

Для нас это, прежде всего, отказ от писательства, привившегося на Руси с легкой руки Хлестакова: "придет фантазия сочинить что-нибудь"... или: "в один вечер все написал, всех изумил". Литература "последнего ядра" не может быть пописыванием от нечего делать, а ее продукция — произведением одного вечера. Это литература семи потов и некоего клятвенного обязательства. Клятвы у нас дают какие угодно: отстоять блокированный Берлин, свергнуть большевизм, восстановить Учредительное Собрание или монархию, но никогда не дают обязательства писать хорошо. Ныне без такого обязательства нельзя. Нельзя также братья за перо из простого тщеславия, с единственной целью прославиться. Ведь даже из тех миллионов стихов, статей, романов, что выносятся в мировой океан словесности мощными реками печатной продукции всех стран, — редкое произведение не погружается тотчас же на дно.

Если такова судьба произведений, имеющих свою страну, свой народ, то что сказать про нашу бездомную дилетантскую литературу? Она не только не мощная река, но и не ручеек, — едва заметная струйка, теряющаяся в песке, неспособная пробиться к морю. Честолюбец, связывающий свою судьбу с таким потоком, смешон. Ему и перед своей эмигрантской аудиторией не блистать и не срывать аплодисментов. Для этого нужны особые, нелитературные заслуги. Самое большее, на что он может рассчитывать, это быть упомянутым в рецензиях Ю. Терапиано и К. Померанцева. Никаких лавров за граница никому не сулит — один терновый венец. Грех староземлянского писательства в том, что оно об этом венце и слышать не хотело, гналось за лаврами. Свое изгнанничество ощутило, в лучшем случае, как личную драму, но ни исторически, ни культурно, ни общественно не пережило. Вело себя не Иовом многострадальным, а промотавшимся аристократом, думающим только о том, как бы сохранить фрак и монокль, чтобы быть принятым в гостиных. Таким же несправедливым житием отличалось гениальничавшее поколение Поплавского. Судьба его, действительно, печальная, но оно было ниже своих страданий, пришло в литературу не с душевным состоянием, которое единственно достойно

писателя-изгнанника.

Если новая эмиграция проявит волю к жизни, она обязана исполнить то, чего не сделала старая. Ее литература должна стать подлинно эмигрантской.

Писать в эмиграции – миссия.

Знаю, что слово это воспринято будет по-красновски, по-меньшевистско-эсеровски, по-солоневичевски. У эмигрантских политических партий, без различия направлений, существует то же самое утилитарное отношение к литературе, что и у большевиков. В теоретических рассуждениях кое-как еще признают автономию искусства, но практически, все как один полагают, что если за границей стоит им заниматься, то единственно в политических видах. Потому политика и ловчила всегда захватить бразды литературного правления. Прочтите в воспоминаниях М. В. Вишняка о "Современных Записках", как Милюков не пускал в "Последние Новости" Гиппиус и Мережковского за любовь их к Пилсудскому. И это в такое время, когда о декабризме Пушкина, о якобинстве и бонапартизме Давида, о левом эсерстве Блока и Белого, принято было говорить, как о политике, не подлежащей общему суду и оценке. Пусть те же Гиппиус и Мережковский сами терроризовали меньшую братию всевозможными призывами к "борьбе", их грех совсем иного порядка, чем грех профессионалов-политиков, вроде Милюкова. Политика для художника, как все остальное в мире, – только липовый цвет, сок которого идет на выработку меда искусства. Вообще, воспоминания редактора "Современных Записок" – "самого либерального и самого культурного журнала эмиграции" – прекрасное свидетельство всегдашней зависимости литературы от партийщины. Легко представить редакции других, менее либеральных и менее культурных журналов.

И все же, эмигрантская ждановщина в былые времена не принимала таких пугающих форм, какие приняла с появлением нас, "новых". Это из нашей среды стали выходить манифесты и призывы покончить с аполитичным писательством раз навсегда, подчинить печать задачам эмигрантской политики. Да и призывов не надо было, мы принесли тип писателя, которого не требовалось обламывать и загонять в ярмо политики, мы в этом ярме родились и никакого другого назначения литературы не понимали. Начали-то, ведь,

как раз с этого — с ужасов большевизма, с преступлений Сталина, с "Исповеди Белобородова", с "Тайн Кремля". Об одном деле Тухачевского написали столько, что хватит на десять голливудских фильмов. Ублажали старушек и генералов рассказами о "государе потаенном", который-де и до сих пор (сами видели) ходит по русской земле. Писали в угоду самой мелкой, самой обывательской политике, похожей на бабье любопытство: учуяв спрос на ходкий товар, действовали в стиле Остапа Бендера, продавшего за крупные деньги листок, исписанный загадочной грамотой, какому-то американцу, исколесившему СССР в поисках рецепта "первача".

Конечно, отчего не продать, раз существуют чудачки, готовые платить? Но вовсе не обязательно такой листок выдавать за беллетристическое произведение. Между тем, монархическая девственность русской души, либо ее извечное тяготение к "свободе" подносились в "художественной" форме романов и драм. Форма представляла затасканный советский штамп, но авторы норовили выехать на политической новизне сюжетов.

Опасность была столь велика, что одно время казалось, будто иного творчества у новой эмиграции и не будет. Бог пронес злое поветрие, но нет уверенности, что многие и сейчас, на вопрос о миссии нашей литературы, не ответят в привычном смысле.

* * *

Здесь, чувствую, не обойтись без некоторых рассуждений. Конечно, существование за границей русской литературы — факт политический, более политический, чем шумиха монархистов, социалистов, солидаристов. Для Лубянки получение Буниным Нобелевской премии было во стократ скандальнее всех дней непримиримости и всякого пикетирования советских посольств. Не партийная, а творческая Россия за рубежом — предмет ее беспокойства. Пока она существует, дух Банко не перестанет смущать покой Макбета; убийца знает, что не его детям, а потомству убитого владеть царством.

Кто т а к поймет политическую роль литературы, с тем не будет разногласий. Но это совсем не то, что

господствует у нас. Важно сейчас не "как веруешь", а "как пишешь". Политическая задача не в том, чтобы привить писателям благонамеренные тенденции, а в том, чтобы не дать пресечься породе пишущих. Разумею — пишущих хорошо.

Такая точка зрения не исключает, но предполагает, почти требует, наличия политической мысли и интереса к политике. Было бы печально, если бы наше писательство лишилось важнейшего вида сырья для своей промышленности. Не говорю уже о важности политики для формирования личности, без которой не бывает писателя. Пусть он, как Мережковский, увлекается кем и чем угодно, лишь бы не забывал, что политика для него, — только сырье, виноград для винодела. Кто этот виноград выносит на рынок *tel quel*, тот простой торговец — разносчик. Писатель тот, кто претворяет его в вино. Выбор сорта винограда и способ его обработки — одна из тайн творчества. Но именно здесь и сказывается губительное влияние партий и "направлений", искажающих литературных процесс. Вот почему — долой партийно-политическую тиранию, но да здравствует свобода политической мысли!

Ее нет в эмиграции. Да нет и мысли вообще. Какая мысль у "политики", представленной гниющими обломками разбитого российского корабля? Это такой виноград, что в рот не возьмешь — плюнешь. Ретроградство, реставраторство, археология правая и левая — вот наиболее корректные слова для ее определения.

Историкам не так легко будет назвать хоть одну сколько-нибудь значительную, либо оригинальную политическую идею, рожденную в эмиграции, если не считать таких, как "Руки прочь от Советской России", "Царь и Советы". Никогда эмигрантские политики не были страшны большевикам, да ничего подлинно антибольшевистского в их деятельности и не заключалось. Большевиков они поругивали для приличия, а всю страсть, весь талант вкладывали в борьбу между собой. Их враг номер первый находился не по ту, а по эту сторону границы, и здесь "правые" с "левыми" сводили столетней давности счеты. Будь у них сколько-нибудь чувства ответственности, им бы не героями рисоваться, а посыпать голову пеплом. Между тем, затеяли драку на реках вавилонских, винят друг друга в случившейся катастрофе, каждая сторона упрекает противную в том, что годы испытаний

ничему ее не научили, каждая полагает, что сама она многому научилась. По мере старения темы и участников спора, он принимал все менее привлекательные формы, пока не выродился в нечто крайне неприличное.

Можно поздравить тех новых эмигрантов, что не прельстились ни одной из существующих партий. Бывают времена, когда достойнее не иметь цельного политического мировоззрения, чем проникаться ветхозаветными верованиями. Лучше откровенная нищета и нагота, чем нелепое маскарадное тряпье.

Никакой миссии у политиканствующей эмиграции не было и нет.

Политическая миссия русской словесности за границей — в удержании писательского уровня на степени, достойной великого века нашей литературы.

* * *

В СССР, даже в случае отмены стеснений, долгое время нельзя будет хорошо писать. Почва отравлена вкусами 80-х годов, произведениями третьего сорта, обилием писателей, которых попросту надо гнать из литературы. Очищения жаждет и эмигрантская печать. Беллетристические отделы нашей периодики превращаются в рассадники зверобоя и дубняка.

Уровень угрожающе опускается. Необходимо спешное отделение хорошо пишущих от пишущих плохо. Операция эта — сама по себе трудна, но за нею встает вопрос: останется ли после нее что-нибудь, наберется ли хоть малая горсть чистого золота? Тут можно отвечать с известной долей смелости: не будь такой горсти, и разговора бы не зачинали. Новая эмиграция успела кое-что дать, во всяком случае такое, что может служить учредительным фондом для развития дела.

Прежде всего стихи.

Этот вид творчества переживает сейчас период, сходный с тем, какой был сто с лишним лет тому назад, когда Макар Деушкин говорил: "за стихи сейчас секут-с". Их тогда не принимали, они не были литературой, воскресли лет через пятьдесят. Боюсь пускаться в рассуждения о чужих странах, но у нас наблюдается ритмическое чередование эпох стиха с эпохами прозы. Если бы не аномалия, именуемая Тютчевым,

то после тридцатых-сороковых годов стиха совсем бы не было до самого конца девятнадцатого века. Сейчас, по всем признакам, мы переживаем то же время его заката. Больших событий на почве стиха уже не будет.

Но на этом кончается аналогия с девятнадцатым веком. Тогда место поэзии заняла проза, повалила густая толпа Тургеневых, Достоевских, Писемских, Гончаровых, Толстых. В наши дни, как в эмиграции, так и в Советском Союзе, несмотря на выпуск великого множества пухлых романов, очерков, рассказов — проза явно не в силах подняться на должную высоту. Нет прозаиков. Трон остается незанятым. И вот — объяснение живучести стиха в нашем столетии. Его век продлен не собственной силой, а отсутствием противника. Он живет по милости прозы, не явившейся на дежурство.

Но как бы то ни было, здесь, в эмиграции, мы должны быть ему благодарны за эту живучесть. Чем были бы мы без наших поэтов? Слабых произведений и у них достаточно, но литературный ковчег завета, преемственность со славными временами, вкус, артистизм, живут у них, а не у прозаиков. Выражаясь советским языком, поэзия в новоземгрантской литературе занимает "ведущее место". Да если и имена называть, так все они там. По крайней мере, три бесспорных: Кленовский, Лидия Алексеева, Иван Елагин. С Елагиним что-то случилось, он идет по "потухающей кривой", есть опасение, что совсем потухнет. Но начал он блистательно. Имею в виду его военные беженские стихи. Они и сейчас волнуют, как десять лет назад, и не перестанут волновать. Им суждено остаться в саду русской поэзии. Ни в Советской России, ни в России заграничной никто не писал так о пережитом нами светопреставлении. Военные стихи К. Симонова кажутся паточными рядом с елагинскими. Что же до эмигрантской лиры, то ни одна струна в ней не дрогнула в ответ на небывалые громы. Она осталась немой, оглушенной, как воробей пушечным выстрелом. Много болтавшая об апокалипсисе, она не заметила, как небо действительно свернулось в трубку и как вышел зверь о семи головах. Эта слепота к величайшему пощению Божию — род греха. Сознание его ощущается в недавно появившихся стихах Игоря Чиннова:

Ты думаешь о рифмах – пустяках,
Ты душу изливаешь – вкратце.
Но на двадцатый век тебе в стихах
Не удастся отозваться.

Этот век не по плечу нам. Тем значительнее редкие случаи проникновения в искусство его страшного, как дрожание земной коры, гула. Подслушав его, Иван Елагин отменил поэзию сиренево-серого вечера и первозданно-чистой души. Его победа была, до некоторой степени, скандалом в эмиграции, потому что означала победу школы Пастернака, Цветаевой и темнеющего за ними силуэта Маяковского. Акмеистический птичник не мог принять нового поэта иначе, как гадкого утенка. Но у него есть все, чтобы выплыть гордым лебедем. Если не выплывет, то по своей вине.

Не ласково встретили и другого большого поэта Д. И. Кленовского. Правда, исключительное его дарование отмечено было с самого начала Н. Н. Берберовой, потом последовало признание ("он наш") со стороны Г. В. Иванова, писал о нем и Г. П. Струве, но все это на фоне какого-то холода и безразличия. А ведь пришел не просто талантливый, но блестящий поэт, как бы посланник погибшей царскосельской родины русской поэзии. Пришел настоящим мэтром. Я не знаю его биографии, но по сведениям, мелькнувшим в печати, первый сборник его стихов вышел еще до революции. С тех пор, до конца сороковых годов, никто о нем не знал. Вдумайтесь в это тридцатилетнее беспросветное молчание, полное чистейшего служения поэзии! А что Кленовский служил, писал, в этом нельзя сомневаться, иначе чем объяснить ту совершенную законченность зрелого мастера, артистическую тонкость и умудренность, с которыми он предстал перед нами? Правы те немногие голоса, что называют его Баратынским нашего времени. Он – гордость новой эмиграции. После смерти Георгия Иванова, я не знаю здесь, за границей, более крупного поэта.

Лидия Алексеева – одна из самых трогательных женщин-стихотворцев. Ее чеканный, без единого лишнего и фальшивого слова, стих поражает мастерством. Он очень прост, скуп, сдержан, и эта простота, конечно, дорогая, но она не подчеркнутая, не кокетливая, как бывает у умудренных теорией поэтов.

Чувствуется, что Алексеева много училась ей у королевы русских поэтесс — Анны Ахматовой, и вполне достойна быть в числе первых фрейлин ее свиты. Но как непохожа она своим поэтическим обликом на грешную, страдающую от любви Ахматову, с ее жадной тюркской кровью! Лидия Алексеева — старинный русский образ, над появлением которого стоит задуматься. Наши женщины либо любят себя, как Бога, и жаждут того, "чего нет на свете", либо, надевши кепку и сапоги, идут в женотдел и призывают соотечественниц пересесть с трактора на танк и "бить врага малой кровью на его собственной территории". Либо в сквернах советского быта, в скитаниях эмиграции составляют неисчислимую армию детей ничтожных мира. Откуда же это простое, кроткое просветленное существо — подобие святой? Она много знает, все понимает с первого взгляда, но ничего не осуждает. Она все потеряла, ходит бездомной странницей, заглядывающейся на чужие герани в окнах, между нею и миром — черта, проведенная ножом, даже стихия, в которой ей легче дышится, лежит за пределами человеческих поселений — лес. Но ни слова проклятия или неприязни, ни стоны, ни жалобы. Любит она и благословляет этот мир, как самая счастливая его обительница. Она не дала в своем сердце перевеса горечи над радостью, а ненависти у нее от природы нет. Это подлинная дева Феврония русской поэзии.

Я не пишу здесь обзора и лишен возможности поговорить пространно о других талантливых поэтах, таких как Ольга Анстей, Николай Морщен, Олег Ильинский, Ирина Бушман, Аглая Шишкова и другие. Все они, уже сейчас, — желанные гости в толстых журналах и альманахах, у всех, если не маршальский жезл, то капитанские погоны в ранце. Наличие такой шеренги способно усугубить соблазн произвести последний выстрел.

* * *

Хуже с прозой. Стать хорошим прозаиком сейчас труднее, чем стать хорошим поэтом. Проза XX века еще не сложилась. Триумф ее в Советском Союзе — это триумф количества, а не высоких образцов. И в эмиграции, разве Сирину удалось

приоткрыть дверь в мастерскую будущего. Что же до нас, новых беллетристов, то мы только начинаем выходить из стадии ученичества. Опубликованное до сих пор надлежит признать за пробу пера. В общем, это была не плохая проба, она сулит зрелые произведения в скором времени, но нельзя ею обольщаться. Прав Маяковский: первое произведение никогда не бывает удачным. Чем скорей автор проникается сознанием его несовершенства, тем лучше. В литературе, кто боится смелых ампутаций, навсегда остается калеккой. Верный залог грядущего успеха новых беллетристов я вижу в том, что они не боятся приносить в жертву своих первенцев. Последние пять лет для многих были годами большой внутренней работы и отталкивания от прежних замашек и приемов письма. Особенно значительна эволюция Л. Д. Ржевского. Всем памятны его призывы к "актуализации", к политической тенденциозности, памятны и опыты в этом направлении. Теперь он начал говорить своим голосом, и оказалось, что голос у него приятный. Это не медный глас трибуна, "борца", каким он вообразил себя вначале, это нечто камерное, но в этом искренность — первое условие искусства. Считаю это самым ценным приобретением писателя. Он и в цеховом своем мастерстве достиг многого. Опубликованные в "Новом Журнале" рассказы его обнаруживают человека, овладевшего писательским ремеслом, созревшего для больших замыслов. Его пример, надо думать, не останется единственным. Никто из дебютировавших десять лет тому назад пера не положил, идет работа, плодов которой будем ждать в ближайшее время. Не исключена возможность, что рядом с шеренгой поэтов, выстроится шеренга прозаиков.

Пожелаем каждому из пишущих обрести свое лицо. Рецептов для этого не существует; процесс этот — сугубо индивидуальный. Но позволено будет указать на некоторые общие причины, мешающие многим из нас стать самими собой. У А. М. Ремизова есть рассказ: человеку, когда он спал, заползла в рот змея и поселилась во чреве. С тех пор, что бы он ни ел, ни пил — все она пожирала, оставляя ему столько, чтобы не умер с голоду. Так промучился большую часть жизни. И вот, однажды, змея вышла вон. Человек свободен. Но он тоскует, ему чего-то не хватает. И понял, что вся его жизнь была — змея. О ней он думал, ее чувствовал в себе, от нее страдал. Теперь он пуст, не о чем думать.

Не так ли и с нами, выросшими в царстве змея? Уйдя оттуда, мы стали вольными, не носим больше чудовища в себе, но мы опустошены, наши помыслы тянутся в привычном направлении. Через пятнадцать лет после "исхода" встречаются люди, живущие душой там, а не здесь.

Есть и другое. Некоторые легко и быстро сбросили советскую шкуру, но свою собственную не обросли, надели готовую эмигрантскую. Пустились в разговоры о богочеловечестве и человекобожестве, о Христе и Антихристе. Такая эмигрантщина стоит советчины. За границей и без нас достаточно людей, поминающих имя Господне всуе, не нам умножать их число. Не лучше ли говорить о том, чего никто кроме нас сказать и поведать не может?

То же относительно литературных замашек и вкусов, устоявшихся в эмиграции. Иной из сил выбивается, чтобы писать, как Адамович. Бывает, что это и удается. Но зачем? Адамович один, и другого нам не надо. Надо стремиться к уровню Адамовича, а не к его манере.

* * *

Но без чего новоэмигрантская литература не может жить, так это без своей критики. Подчеркиваю, "своей", потому что существующая критика держится мачехой по отношению к ней и почти не удостоивает внимания, а если, порой, и снисходит до дипийных произведений, то напускает столько холода и высокомерия, что лучше бы не снисходила вовсе. Кроме того, в силу своего советского происхождения новоэмигрантская писательская братия все еще не может выбиться из стадии ученичества. Ей еще нужен критик-педагог, а вовсе не тот "товарищ богов", который занимается подысканием для своих приятелей подходящих мест на Олимпе, где-нибудь рядом с Толстым.

Критика сейчас в глубоком упадке. Нет постоянно действующего судебного учреждения. Есть карательные экспедиции, губернаторские нагоняи, урядничьи зуботычины, есть изъявления высочайшей милости, оправдание воров и разбойников, засуживание неповинных людей. Но нет закона и стражей закона.

В каком-то труде по эстетике мне попалась замечательная фраза: "первая забота критика — как можно меньше мешать пониманию произведения". Мы, русские, должны бы написать это золотыми буквами на фронтонах своих литературных учреждений. Критика у нас спокон веков мешала понимать и стихи, и прозу. Но если у Добролюбова и Писарева это объяснялось тем, что люди они были вполне посторонние литературе, то в наше время, совсем наоборот, критика сама хочет быть литературой, сиречь "художественной" прозой. "В критике больше нужды, чем в стихах и прозе", — отчеканил один наш новый эмигрант. Разбор и оценка произведений, ныне, — только предлог для новых опусов в прозе. Критик озабочен не правдой, а блеском своих суждений. Ему нравится писаревское правило бездоказательности приговоров. Для него Сент Бёв и Ипполит Тэн, с их проблемой "научной критики", как будто и не приходили. Мало ему дела до раскрытия чужого произведения, он создает свое собственное. Он эссеист, и дорожит правом безответственности, присвоенным этому виду литературы.

Во время óно эссеисты, говорят, были очень тираничны. Ныне они больше милуют, чем казнят, их тянет на покой, по каковой причине двери святилища литературной Фемиды чаще бывают закрыты. Функции жрецов все больше переходят к швейцарам и дворникам храма. Эти устроили судилище не лучше того торжища, что было разогнано бичом. Не имея таланта своих мэтров, они усвоили безответственность и безапелляционность их приговоров.

В одном они проявили исключительный талант — в умении порадовать родному человечку. Иной раз диву даешься, откуда берутся слова, обороты и всевозможные фигуры, чтобы похвалить Богом отмеченную посредственность? И какой арсенал кивков, стилистических гримас, умолчаний существует для задвигания в тень подлинных талантов! Удивительно ли, что порой это вызывает реакцию, вроде статей Кленовского в "Новом Русском Слове"? Это были хорошие статьи — законный бунт искусства, решившегося постоять за себя. Он разрешен и освящен Аполлоном, расправившимся с фавном Марсием. Если Кленовскому пришлось спустить шкуру не с бедняги Марсия, а с Мидаса, то это объясняется теперешним смещением центра угрозы искусству по сравнению с

античными временами.

Нашей литературе нужен хозяин. Не капризный талант, видящий в себе меру всех вещей, но пастырь добрый. Мы нуждаемся в ровном, уверенном руководстве испытанного мэтра. Нам бы правителя с острым глазом, чтобы замечать достойное, с длинной линейкой, чтобы бить по рукам наглухо бездарность; терпеливого наставника, не гнушающегося растолковыванием азов искусства!

Уже старая эмиграция оскудела такими людьми, в нашей же среде их просто не существует; можно только в проекции представить кое-кого в этой роли. Очень бы хотелось назвать имя В. Ф. Маркова, талант которого так много обещает и который уже аттестован как критик. Боюсь только, что с аттестацией поспешили. Его, кажется, меньше всего соблазняет звание критика, в нашем понимании. Видно по всему, что ему мерещатся блистательные *essais* а ля Рёскин, а ля Поль де Сен-Виктор, даже а ля Шкловский. Пожелаем ему успеха на этом пути, но это не то, о чем мы мечтаем. К сожалению, никакого другого кандидата в "пастыри" у меня нет.

* * *

Я давно чувствую на себе недоуменный взгляд: почему же будущее эмигрантской литературы связано, непременно, с Ди-Пи? Разве не существует писателей недипийного происхождения, творчество которых обещает быть не менее продолжительным, чем творчество новых эмигрантов? Или они не столь талантливы, или школа у них хуже нашей?

И талантов не меньше, и школа не хуже, а лучше. Но есть невольники, прикованные к эмигрантской колеснице. По-русски они пишут, как заметил покойный Г. В. Иванов, только потому, что не знают в должной мере ни одного иностранного языка. Они создатели нерусской литературы на русском языке.

Русский народ — варвар, Россия — гнусная страна, глубоко нам чуждая, — никогда в жизни мы туда не поедим; но русская литература, русская культура нас пленяют, мы хотим писать по-русски, не имея ничего общего с Россией. Такие речи мне приходилось слышать, такие мысли угадывать.

Было бы странно осуждать за это людей, родившихся за границей, либо вывезенных сюда в младенческом возрасте, почти не дышавших отечественным воздухом. Поколению этому надлежало бы именоваться не "незамеченным" (что совершенно несправедливо), а лишенным родины. Не в территориальном, конечно, не в беженском смысле. Можно ли, к примеру, Бориса Зайцева, да любого из старых писателей лишить России? И у нас, "новых" ее отнять нельзя. Прочтите Кленовского:

Я сейчас не мил тебе, не нужен,
И пускай бездомные года
Все петлю затягивают туже —
Ты со мной везде и навсегда.

Как бы ты меня ни оскорбила,
Ни замучила, ни прокляла,
Напоследок пулей не добила —
Ты себя навек мне отдала.

Не о пресловутом патриотизме тут речь, а о химическом соединении человека с родной землей. Все чуткие из "незамеченных" тоскуют из-за отсутствия у них этой химии. Мне приходилось цитировать превосходное стихотворение А. Величковского о метле, стоящей в углу конюшни и, вдруг, зазеленевшей весной.

Упорство этого цветенья,
Цветенья веток без корней
Похоже на стихотворенья
Лишенных родины своей.

Года четыре назад, когда эти стихи появились, я усмотрел в них манифестацию распространенной идеи о невозможности писательства за пределами отечества. И тогда это казалось грехом. Ныне вижу страдание людей бездомных. Печальна участь — писать на языке духовно оскопленном, оторванном от родившей его стихии. Тогда уж лучше переходить на иностранный.

Эмигрантская литература имеет смысл и возможна только как русская.

Между нами двери и засовы,
Но в моей скитальческой судьбе
Я служу тебе высоким словом,
На чужбине я служу — тебе.

Какие манифестации и декларации нужны после этих стихов? Пускающие воздушные шары с листовками, разгуливающие с плакатами перед советским посольством и полагающие, что в этом и заключается служба России — презрительно ухмыльнутся. Пусть.

Мы не ждем, что от наших стихов и романов, как от звука труб, падут стены большевистского Иерихона. Мы не верим, что солнце останавливали словом, но верим в слово — истину, в слово, не подчиненное пределам пространства и времени. И мы не всяким словом хотим служить России. Надобно быть величайшим изменником Родины, чтобы, презрев ниспосланный нам дар свободы, завести у себя такой же "улей запустелый", как в Советском Союзе, где "дурно пахнут мертвые слова".

С ними ли вернемся домой, и такое ли слово произнесем, когда "в Петербурге мы сойдемся снова"? А что сойдемся — знаем. Не сейчас, так через двадцать, не через двадцать, так через сто лет. Россия вечна. Кто живет для ее духовной сущности, а не для прогнивших политических лозунгов, тот будет принят ею. Несогласному служить ей "высоким словом" лучше, конечно, пускать воздушные шары или устраивать дни непримиримости.

Кленовский не переправил через границу ни одной прокламации, но подарил России прекрасного поэта. Пусть каждый сделает то же. И тогда, воистину, в Петербурге мы сойдемся снова.

"Литературные мечтания" — всегда "бесмысленные мечтания", но... "быть может"!...

ПОСЛЕ БУНИНА

Бывают смерти, когда оплакивать приходится не покойника, а остающихся в живых. Покойник прожил долгую творческую жизнь и совершил все ему положенное. Он никогда не принадлежал к "властителям дум", не был писателем, "создавшим эпоху", не возглавлял "направления", не имел шумной толпы поклонников, которых удерживал на расстоянии исходивший от него аристократический холодок; его не столько любили, сколько чтили. Но он был "последний русский классик", как сказано в одном объявлении о его смерти. Про него можно сказать то же самое, что Андрей Белый писал когда-то про Брюсова: "Он — поэт, рукоположенный лучшим прошлым. Только такие поэты имеют в поэзии законодательное право".

Очень хорошо это слово "рукоположенный". Оно выражает исконную, мистериальную черту русской литературы.

Старик Державин нас заметил
И в гроб сходя благословил.

Пушкин дорожил этим благословением, как родительским. Еще больше дорожил благословением самого Пушкина — Гоголя. А Достоевский, признававшийся, что "все мы вышли из *Шинели* Гоголя", — указывает на продолжавшуюся из поколения в поколение хиротонию. Литературная благодать дошла до наших дней в лице Бунина и пресеклась. Кончается династия помазанников, начинается безблагодатный период. Русская литература чувствует себя сейчас так, как, вероятно, будет чувствовать последний человек на земле, когда останется совершенно одиноким перед лицом наступающих ледников. Говоря "русская литература", разумеем, конечно, литературу эмигрантскую. Что бы ни писали журналисты, — в СССР ее не существует. Там уже ледники. Большевики редко говорят о себе правду. Только когда меняется политический

курс или низлагается крупный сановник, деятельность которого подвергается полному разоблачению, — их как бы прорывает. Тогда срываются завесы, обнажаются тайны, и "в порядке самокритики" сыплются ужасные признания и откровения. Совсем недавно, в журнале "Знамя" появилась статья И. Эренбурга "О работе писателя", где среди обязательных славословий и превознесений советской литературы разбросаны пространные высказывания о ней, дающие образ такой деградации, такой пародии на искусство, нарисовать который мог позволить себе только крупный вельможа и то с благословения высшей власти. Статья Эренбурга — ценнейшее свидетельское показание, вернее — признание убийцей совершенного им преступления. Смысл его саморазоблачений ясен: большевики ищут способ гальванизировать труп ими же зарезанной русской литературы. Попутно выдается свидетельство в том, что она действительно зарезана.

Все, что сохранилось от исторического древа российской словесности, о чем еще можно пещись и что можно спасти — находится здесь, за границей. Мы не случайно употребили слово "спасти". Спасенное, в свое время, уходит от большевистского режима нуждается ныне снова в спасении. Смерть Бунина обнаружила это с полной очевидностью. Умирая, скиптроносцы литературы оставляют ее один на один со стоглавым, стозевным, давно, казалось, исчезнувшим чудовищем, грозящим ей полной гибелью. Как в американском фильме: от атомного взрыва, на далеком севере, пробуждается исполинский ящер, пролежавший во льдах десятки тысячелетий в состоянии анабиоза. Оживленный, он начинает топить корабли, опрокидывать маяки и, добравшись до Нью-Йорка, давит людей и разрушает дома. Год от года, все отчетливее, проявляет свои очертания в нашей литературе такой дракон. Из всех Сцилл и Харибд, подстерегающих российскую словесность, — это самое страшное. Кто хочет понять, о чем идет речь, должен перечитать знаменитую сцену в "Отцах и детях", где Аркадий Кирсанов, ласково отнимая у отца книгу Пушкина, подсовывает ему "Stoff und Kraft" Бюхнера. Этому предшествовал разговор с Аркадием Базарова: "Твой отец — добрый малый; но он человек отставной, его песенка спета. Он читает Пушки-

на. Растолкуй ему, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик. Дай ему что-нибудь дельное". В этой, казавшейся когда-то курьезной, а ныне очень страшной сцене — завязка драмы русской литературы.

Тургенев ничего в ней не выдумал. Призыв вышвырнуть Пушкина за окно, как вздорное, ребяческое чтение, раздавался в его время со страниц толстых журналов. От печатного слова требовали "дельности". Нечесанные студенты, на своих вечеринках в накуренной комнате, произносили яростные речи против Фета, Пушкина, Гете, именуя их не иначе, как "тунеядцами", "паразитами", даже "негодьями". Ставилась задача всемерного их развенчания и осмеяния. Писарев требовал "сделать так, чтобы русский человек, собирающийся вздремнуть или помечтать, постоянно слышал в ушах своих звуки резкого смеха, сделать так, чтобы русский человек сам принужден был смеяться над своими возвеличенными пигмеями — это одна из самых важных задач современного реализма. Уснуть, в понимании Писарева, значит увлечься Пушкиным и Лермонтовым. Вальтера Скотта и Ф. Купера он прямо называет "усыпителями человечества", а исторический роман "одним из самых бесполезных проявлений поэтического творчества", потому что "в наше время, когда надо смотреть в оба глаза и работать обеими руками, стыдно и предосудительно уходить мыслью в мертвое прошедшее, с которым всем порядочным людям давно пора разорвать всякие связи".

Сколько знакомого в этой тираде! И подчеркивание какого-то особого значения "нашего времени", на котором исключительно следует сосредотачивать внимание, и "мертвое прошедшее", с которым необходимо порвать связи, и постоянная забота — не дать читателю уснуть, уйти в "чистую поэзию". Кто прожил два или три десятка лет под Советами, тому это знакомо, как "кошмар минувшей ночи". Фразеология шестидесятников отделена от нас почти столетней давностью, но получила в наши дни небывалое распространение. Она означает цельный, законченный взгляд на искусство и на литературу. Она — не специфически русское явление. Начали его

проповедывать, кажется, французские рационалисты типа Дидро, от которых он был воспринят идеологами революционного движения и социализма. Нечто подобное нашему шестидесятичеству наблюдалось почти во всех странах. В Германии, Людвиг Бёрне поносил Гёте, примерно в тех же выражениях, в каких у нас поносили Пушкина. Но нигде, кроме России, не доведено это было до своих логических пределов и не породило такого числа фанатических последователей. Европа пережила это, как сравнительно легкую болезнь, тогда как в России оно просуществовало до большевистской революции, сделавшей его своим знаменем.

У нас сейчас все более ширится взгляд на 60-е годы, как на реторту, в которой зарождался Гомункулюс большевизма. Читателям "Нового Журнала" известна интересная статья Н. Валентинова "Ленин и Чернышевский", где прекрасно показано, как эстетические воззрения 60-х годов впитаны были Лениным вместе с политическими и философскими учениями того времени. Они сделались таким же обязательным признаком большевистского мировоззрения, как экономическая и социалистическая доктрина Маркса. Хотя у большевистских руководителей искусства чаще всего наблюдается превознесение трудов Чернышевского и Добролюбова, но тайной их любовью является самый крайний из шестидесятников — Писарев. В этом убеждает анализ их политики и все высказывания об искусстве. Чего стоит один термин "социалистический реализм"! Рассказывают, что когда И. Эренбург приезжал (до "измены" Тито) в Югославию для собеседования с тамошними литераторами, зашел разговор о социалистическом реализме. "Вы знаете, что такое социалистический реализм?" — спросил кого-то высокий гость. Тот смиренно сознался, что не знает. "И я не знаю", — признался, в свою очередь, Эренбург. В СССР нет и не существовало человека, включая самого автора лозунга — Сталина, который бы мог толком объяснить, что это такое.

Тот же Эренбург свидетельствует, что "социалистический реализм не литературная школа, он допускает множество различных художественных приемов". Социализму, как известно, служат вчерашние

футуристы, имажинисты, сохраняя все особенности старой своей формы. Это не мешает именоваться им социалистическими реалистами. Постичь загадочный термин, исходя из обычного понимания слова "реализм", как всем известного направления в искусстве, невозможно. Есть только один путь: попытаться установить, не употреблялось ли когда-нибудь это слово в ином смысле? Стоит задать такой вопрос, как положительный ответ сразу последует. Употреблялось. Писарев в 60-х годах вкладывал в него такой смысл, без которого разгадка пифического бреда Сталина невозможна. Под реализмом он разумел не литературное направление, а скорее неотъемлемый признак всякого искусства вообще. "Кто не реалист, тот не поэт, а просто даровитый неуч или ловкий шарлатан, или мелкая, но самолюбивая козявка". Искусство не может не быть реалистичным, если хочет, чтобы его признавали, как ценность. Этот тезис прочно воспринят большевизмом. Возьмите любую советскую энциклопедию, любой терминологический словарь, тот же устав союза советских писателей, и везде под словом "реализм" прочтете: "основной метод искусства и литературы".

Основной. Это значит — вне реализма не может быть ни искусства, ни литературы. Большевики с молоком матери всосали эту идею еще в дореволюционный период своего существования и пришли к власти убежденными "реалистами". В первый год своего владычества, когда им было не до искусства, они терпели бросившихся к ним на шею "левых" — Альтмана, Татлина, Пуни, Маяковского, Асеева и всех эпигонов футуризма, но потом твердо и решительно дали им отставку. Кто не реалист, тот не художник.

Но что такое реализм и реалисты? На это у Писарева можно найти такие ответы: "Вполне последовательное стремление к пользе называется реализмом и непременно обуславливает собою строгую экономию умственных сил, т. е. постоянное отрицание всех умственных занятий, не приносящих никому пользы". "Реализм, сознательность, анализ, критика и умственный прогресс — это равносильные понятия". Об искусстве, как видим, здесь даже не говорится. Широта писаревских определений такова, что обнимает не одно искусство, но все

”умственные занятия”. Эпитет ”умственный” особенно подчеркивается. ”Реалистами могут быть, в настоящее время, только представители умственного труда”. Отсюда, совершенно очевидно, реализм означает господство ума, мысли. Произведения, в которых не обнаружено рационального начала, признаются пустыми, ненужными побрякушками. Так, басни Крылова забракованы Писаревым, как ”робкие намеки на сильный ум, который никогда не может и не осмелится развернуться во всю свою ширину”. За Шекспиром, Байроном, Шиллером, Гейне и Мольером признаны кое-какие достоинства, единственно потому, что у них можно найти ”несколько дельных и умных мыслей”. ”Мысль и только мысль может переделать и обновить весь строй человеческой жизни”. Художнику-реалисту и задачи ставятся своеобразные: реалист должен думать только о тех людях, которые могут проснуться и превратиться в реалистов”. Реалистами, значит, могут быть не только пишущие. Писарев мечтает о таких временах, ”когда реализм войдет в действительную жизнь”, т. е. когда подавляющее количество населения станет реалистами. К этому ”светлому будущему” (тоже писаревское выражение) должны вести человечество современные реалисты. Не будем увеличивать количество цитат; смысл их ясен: реализм — не течение в искусстве, не школа, а умонастроение, мировоззрение, политическая доктрина, преследующая ”идею общей пользы или общечеловеческой солидарности”. Скажем сразу: реализм Писарева как две капли воды похож на социализм. Конечно, этот социализм, по всем признакам, — утопический, но ведь и мы постепенно приходим к мысли, что иного социализма, кроме утопического, пожалуй, и не существовало. Писарев не мог, по цензурным условиям, открыто заниматься его пропагандой, не мог даже называть его по имени; он дал ему псевдоним популярного в то время литературного течения. Вот почему большевики и все наши революционеры очарованы были словом ”реализм”. Присовокупив к нему эпитет ”социалистический”, они превратили все выражение, с точки зрения Писарева, в тавтологию, а простого смертного заставили ломать голову над его загадочностью. Сталин вряд ли читал самого Писарева и вряд ли знал шестидесятнический смысл ”реализма”, но он усвоил это слово в социал-демократическом подпольи в том туманном, но сакраментальном смысле,

в каком оно дошло до начала XX века от 60-х годов. Он успел усвоить идею близости этого термина к политическому движению, которому посвятил жизнь, и когда провозгласил реализм "основным методом искусства и литературы" — снабдил его, для большей прочности, эпитетом "социалистический".

* * *

И вот, в СССР происходит воскрешение идеологического монстра шестидесятых годов со всем его глубоким презрением к искусству, как таковому, с подчиненностью его практическому знанию и политической мысли, с признанием за ним чисто служебной роли. Усваивается мысль Писарева, выраженная в свое время в откровенно циничной форме, — воспитывать народ с помощью искусства, как малых ребят. Ведь дети "читают только то, что их забавляет". Надо забавное чтение использовать для преподнесения им серьезных идей: "увидело дитя малое червонец — давай его сюда! Цаца! Увидело золоченый орех и к ореху потянулось. Тоже цаца! Ну, вот и надо, чтобы научные идеи всегда были размалеваны, как цацы. Пускай дитя малое играет этими цацами. Они помогут ему расти". И есть у него еще одно высказывание, глубоко запавшее в душу нашим преобразователям общественного строя: "Капля долбит камень *non vi, sed saepe cadendo* (не силой, но часто повторяющимся падением), и романы незаметно произведут в нравах общества и в убеждениях каждого отдельного лица такой радикальный переворот, какого не произвели бы без их содействия никакие философские трактаты и никакие ученые исследования". Не заключен ли в этих отрывках весь смысл литературной политики советской власти?

Что литература обязана служить задаче преобразования общества, сделалось аксиомой не у одних большевиков. В пореформенной России вся прогрессивная интеллигенция ревностно ее преследовала. Издательство "Посредник" в 80-х годах печатало специальное обращение "ко всем лицам, стоящим близко к народу", в котором, между прочим, просило ответа на вопрос: "В окружающей вас местности — какие из самых грубых предрассудков или суеверий требуют настоящего и немедленного разъяснения и возможно ли

разъяснение их или, по крайней мере, помощь в разъяснении их путем литературы”? Здесь ”литературное обслуживание” населения близко к своему административному воплощению на манер земского школьного дела или организации медицинской помощи.

Всякий, вступающий на такой путь понимания задач литературы, попадает в полный и неизбежный плен к писаревщине и к большевизму — ее логическому завершению. Он уже не имеет права протестовать против того, что Ленин писал в 1905 году в ”Новой жизни”: ”Литературное дело не может быть индивидуальным делом, независимым от общего пролетарского дела. Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверх-человеков! Литературное дело должно стать колесиком и винтиком одного единого великого социал-демократического механизма”. В чем угодно, но в логике этому рассуждению отказать нельзя. Раз искусство призвано служить обществу и преобразовывать его, то оно и должно находиться под контролем и руководством преобразователей. В этом залог наиболее целесообразного его использования.

Нельзя возражать и против требования Маяковского — ”разбить вдребезги сказку об аполитичном искусстве”, против его же утверждения: ”поэзия начинается там, где есть тенденция”. Как известно, это привело к взгляду на искусство, как на агитацию. Стихи: ”Выхожу один я на дорогу...” представляются Маяковскому ”агитацией за то, чтобы девушки гуляли с поэтами. Одному, видите ли, скушно”. Лермонтов, по мнению Маяковского, прекрасно справился со своей агитационной задачей, и мастерству его следует поучиться. Пролетарское дело сразу бы подвинулось, если бы дать такой же силы стих, но ”зовущий объединяться в кооперативы”.

Усвоивший идею служебного назначения искусства не может не согласиться с большевистским учением о его классовой природе, о том, что оно всегда кому-нибудь служило: в дворянском обществе — дворянству, в капиталистическом — буржуазии, а в наши дни должно служить пролетариату. По Ленину, ”свобода буржуазного писателя, художника, актрисы, есть лишь замаскированная зависимость от денежного мешка. Мы, социалисты, разоблачаем это лицемерие, срываем фальшивые вывески, не для того, чтобы получить неклассовую литературу и искусство (это будет возможно лишь

в социалистическом внеклассовом обществе), а для того, чтобы лицемерно свободной, а на деле связанной с буржуазией литературе противопоставить действительно свободную, открыто связанную с пролетариатом литературу”.

* * *

Утилитаризм не обязательно приводит к большевизму. Любая другая доктрина, в том числе антибольшевистская, может его исповедывать и может разработать такую же стройную, законченную систему применения искусства в своей политической борьбе. Все небольшевистские тоталитарные режимы обнаружили к этому склонность. Присущ утилитарный взгляд на искусство и некоторым очень почтенным институтам в демократических странах. Только степень культурности и особые общественно-политические условия были причиной того, что нигде кроме СССР искусство не претерпело такого жестокого ущемления. Но, несомненно, всякий поддавшийся бесу утилитаризма теряет душу; он — потенциальный убийца искусства. Он — “большевик навыворот”.

Эта опасность и грозит сейчас последнему очагу российской словесности здесь, за рубежом. На эмиграцию ползет тот самый ящер, что погубил литературу в советской России. Пушкина у нас еще не вырывают из рук и не подсовывают вместо него Бюхнера и Либиха, но проповедь применения литературы для политической борьбы уже раздается настойчиво, с напором, с темпераментом, с употреблением характерной фразеологии. Примеров тому немало, на них указывалось в печати. Были конкретные предложения поэтам — вдохновиться тем-то и тем-то. Когда появился протест против таких чисто РАПП-овских замашек, покойный И. Л. Солоневич выступил с громяющей передовицей в их защиту.* Со свойственной ему “широтой” и “прямотой” он отказался от какого бы то ни было деликатного обращения с литературой, заявив, что если в эмиграции есть смысл ею заниматься, то только в связи с политическими задачами. Эмиграция, по его мнению, такая дыра, что в ней ничего вообще быть не может. Существует

* См. “Наша Страна” № 140, 20 сент. 1952.

здесь не более двух-трех писателей, кое-как "доедающих свою дореволюционную славу", все остальное — дрянь несостоящая внимания. В среде новой эмиграции "писателей нет и быть не может". Чтобы писать, надо иметь "Ясную Поляну", либо "Село Михайловское". Свой собственный "настоящий" роман, начатый им лет двадцать тому назад, где-то под Москвой, Солоневич считал возможным закончить только в будущей монархической России. Сейчас "для чистой литературы нет ни времени, ни пространства, ни денег". Какая там литература, когда люди проходят через ужаснейшие испытания, через войны, тюрьмы, пытки, расстрелы! Когда царит такой ужас, то гораздо охотнее, по его словам, читают "Беспризорников" Н. Воинова, чем воспоминания А. В. Тырковой.

Солоневич, конечно, не одинок, он и выступил, как было сказано, в защиту своих единомышленников. А единомышленников у него много. Нам, по крайней мере, известно, что молодые писатели, так же как и он, кипели и бурлили: "нам не позволяют бороться с большевизмом!" Это были, по преимуществу, так называемые новые эмигранты, Писарева, может быть, в руках не державшие, ругающие, вероятно, его как предтечу большевизма, но воспринявшие его учение через советскую школу, через советское искусствоведение, через самую советскую литературу. Большинство из них не только не знают дореволюционной литературной среды, но и нэповский период, с его значительными остатками прежней российской культуры, им неизвестен. Они взошли на статьях Лелевича, Зонина, Ермилова, Киршона, Кирпотина, на искусствovedческих трудах Маца и Зивельчинской. Иной взгляд на искусство, кроме сугубо утилитарного, им не известен. Они воспитаны на расписывании "цац".

Было бы, однако, несправедливо приписывать этот грех одной только новой эмиграции. Людей с шестидесятническим складом немало и среди "старых". Причину надо искать в той школе, которую они прошли в молодости — либо как земские деятели и журналисты, либо как члены либеральных групп и партий, либо как участники революционного подполья. Все они пили когда-то из одного и того же источника. Литературное credo Чернышевского, Добролюбова, Писарева дошло до них, если не в подлиннике, то в переводе — в критических статьях Н. К. Михайловского, в трудах А. Пыпина,

даже в лекциях по литературе С. А. Венгерова, не говоря о тысячах других источников. Когда Ленин, в 1905 году, написал в "Новой жизни" цитированную выше статью о партийности в литературе, никто из левого стана ему не возражал и от него не отмежевался. Ему позволили говорить от имени всей социал-демократии. Даже из кадетского лагеря, к которому тяготели некоторые деятели "Мира Искусства", — не последовало отпора. Ответ ему дан был на страницах "Весов",* где некто, писавший под псевдонимом "Аврелий", назвал Ленина и ему подобных "врагами прогресса". Обращаясь к ним от имени всего писательского и артистического мира, он высказал настоящее пророчество: "Если бы осуществилась жизнь социального, "внеклассового", будто бы "истинно свободного" общества, мы оказались бы в ней такими же отверженцами, такими же *roètes maudits*, каковы мы в обществе буржуазном". Многие из теперешней эмиграции были в то время врагами того журнала и той литературы, к которым принадлежал автор отповеди Ленину. Эта литература, дерзнувшая заявить о своих правах, сбросить ярмо политики и "общественности", действие которых, по всеобщему признанию, ощущалось сильнее действия цензуры, — прозвана была в отместку "декадентской". С нее начался ренессанс нашей поэзии. Ни Брюсов, ни Блок, ни Иннокентий Анненский, ни Ахматова, ни Гумилев, ни Георгий Иванов, ни Мандельштам, ни Клюев, ни Есенин, ни Маяковский и Пастернак невозможны были бы без "декадентства". Все эти имена, однако, не пользовались и сейчас не пользуются симпатиями того поколения интеллигенции, чьи вкусы сложились на всевозможных "Песнях о буревестнике", на Гарине-Михайловском, Шеллере-Михайлове, Якубовиче-Мельшине и всей унылой плеяде писателей с двойными фамилиями, которых давно кто-то назвал "недоразумениями в прозе".

Шестидесятническая эстетика породила не только писателей, страстно вытраивавших и заглушавших в себе художника, но и соответствующего читателя, равнодушного к культуре слова, к сделанности литературного произведения, и чуждого какого бы то ни было понимания символичности искусства. Наш брат "новый эмигрант", прошедший РАПП-овскую

* № 11, 1905 г. По справке, полученной от А. М. Ремизова, "Аврелий" был — В. Я. Брюсов. *Н. У.*

школу и очутившийся за границей, оказался здесь не одиноким, он нашел много родственных душ, склонных похваливать за общественную полезность такие его рассказы и романы, которые в более требовательные литературные времена не имели бы шансов попасть ни в один журнал.

Но это пассивное, так сказать, поощрение — ничто в сравнении с активными попытками некоторых эмигрантских политических групп "использовать" литературу, как якобы мощное орудие борьбы с большевиками.

* * *

Не переоценивается ли, однако, роль искусства в политической борьбе?

Пока оружия не сложит
Раздутый спесью швабский гном,
Пусть каждый бьется тем, чем может —
Солдат штыком, поэт — пером!

Такое разделение труда, предложенное Н. Агнивцевым в 1914 году, как мы теперь знаем, не оправдало себя. Настоящие поэты, вроде Гумилева, предпочли, попросту, пойти на войну и биться штыком. Оставшиеся в тылу бойцы пера, несмотря на груды патриотических стихов, ни в какой мере победе не способствовали. До тех, кто бился штыком, их стихи попросту не доходили; они не дали русской армии даже достойной песни. Солдаты шли на войну и умирали под "Соловей, соловей, пташечка!" и "Цыганочка черноока". Столь же мало способствовали победам Красной Армии — пролетарские поэты. В дни гражданской войны красноармейцы пели песни старой царской армии, в которых лишь несколько неподходящих слов были заменены или переставлены. Песни со сколько-нибудь новым содержанием стали появляться в самом конце гражданской войны, да и то виной тому были не поэты, а само красноармейское творчество, вернее, творчество безвестных политруков и комиссаров.

Ты, конек вороной,
Расскажи дорогой,
Что я честно погиб за рабочих.

Песня, написанная профессиональными поэтами и музыкантами, появилась в советской армии не раньше 30-х годов. Для второй мировой войны она была уже устаревшей. В этом есть своя закономерность. Не только искусство, но сама военная мысль не в силах поспевать за темпами борьбы. "Мы узнаем стратегические правила, когда война уже окончена", заметил Гёте. В войнах, революциях, переворотах, во всех крупных событиях, искусство физически неспособно участвовать. Только несколько случаев можно отметить, когда нужные для борьбы слова и музыка появлялись во-время и играли какую-то действенную роль. Но это случалось раз в несколько столетий. В новое время мы вряд ли можем назвать что-нибудь, кроме хорала Мартина Лютера и "Марсельезы" Руже де Лилия. Все другие войны и революции сопровождались случайными произведениями искусств, возникшими не для данной цели и не выражавшими сущности события, либо настолько примитивными, что мерка искусства к ним совсем неприложима. Нам известна, например, огромная роль боевой песни в войнах древних германцев; римские писатели свидетельствуют, что трудно было устоять против этих варваров, когда они ее затягивали. Но эта песня состояла всего из одного слова, по видимому, совершенно случайного, которое повторялось без конца в такт напева. Его выкрикивал сначала один человек, к нему присоединялись другие голоса, потом, подхваченное всем войском, оно росло, усиливалось, превращалось в рев бури. Видимо, песня в борьбе не столько воспламеняет, сколько сама является результатом воспламенения. Отсюда ее неприхотливость. Если вспомнить, чем вдохновлялось русское революционное подполье — все эти "Рабочие марсельезы", "Варшавянки", "Смело, товарищи, в ногу", которые по своему художественному достоинству не многим выше прежних солдатских песен, то возникает вопрос: так ли уж важно искусство для целей политической борьбы? За немногими исключениями, она всегда обходилась без него. Товарищи Кржижановские или запевалы первой роты, кропавшие стишки и клавшие их на популярные опереточные мотивы, либо

на мотивы народной песни, делали ненужным участие в борьбе Брюсовых, Блоков, Мандельштамов и Маяковских. Что-то жалкое и трагическое чувствовалось в судьбе тех больших художников, которые, подобно Брюсову и Маяковскому, пытались участвовать в борьбе как поэты. Те, кого они собирались осчастливить своим гением, в глаза им говорили о бесполезности усилий, о недоходчивости их стихов до рабочего и крестьянина. Всем соловьям, желавшим петь для социализма и революции, Троцкий предлагал познакомиться "с нашим петухом" — Демьяном Бедным и поучиться у него. Брюсов и Маяковский так и умерли, не сравнившись с этим бесподобным поэтом.

Их постигла судьба соловья из Щедринской сказки "Орел меценат", не выдержавшего состязания со скворцом Василием Кирилловичем Тредьяковским. Тематика у соловья была "правильная". "Пел он про радость холопа, узнавшего, что Бог послал ему помещика; пел про великодушные орлов, которые холопам на водку не жалеючи дают... Однако, как он ни выбивался из сил, чтобы в холопскую ногу попасть, но с "искусством", которое в нем жило, никак совладать не мог. Сам-то он сверху донизу холоп был, да "искусство" в холопских рамках усидеть не могло, беспрестанно на волю выпирало. Сколько он ни пел — не понимает орел, да и шабаш! Что этот дуралей бормочет, — крикнул он наконец, — позвать Тредьяковского! А Василий Кирилыч тут как тут. Те же холопские сюжеты взял, да так их явственно изложил, что орел только и дело, что повторял: имянно! имянно! имянно! И в заключение надел на Тредьяковского ожерелье из муравьиных яиц, а на соловья сверкнул очами, воскликнув: убраться негодя!"

Некрасов, бывший у нас всегда образцом поэта-борца, поэт гражданина, сделал перед смертью характерное признание:

Мне борьба мешала быть поэтом,
Песни мне мешали быть борцом.

Шеренге эмигрантских писателей, оскорбленных в своем святом порыве служить делу свержения большевизма, небесполезно было бы заняться судьбой тех прославленных

произведений, которым приписывается исключительное влияние на политические события своего времени — хотя бы, "Записок охотника". До сих пор не существует ни одного монографического исследования, посвященного вопросу о практическом воздействии этой книги на падение крепостного права в России, и загадкой остается по сей день — на каком основании решили, что она такое воздействие оказала?

"Героический" характер русской литературы, столь превознесенный С. А. Венгеровым, в значительной степени — легенда, созданная публицистикой 60-х—70-х годов, носившей в те времена скромное название "критики". В упомянутой статье Н. Валентинова приводятся исключительно любопытные признания Ленина о том, как он читал Тургенева и Добролюбова. Роман "Накануне" прочел он еще до знакомства со статьей Добролюбова об этом произведении и отнесся к нему "по-ребячески". В устах Ленина это означает, что ничего особенного с точки зрения общественной, революционной в этом романе он не усмотрел. Но вот ему попадают статьи Добролюбова — одна, посвященная "Накануне", другая — "Обломову". Они его "ударили, как молния". "Из разбора "Обломова" — (Добролюбов, *Н. У.*) сделал клич, призыв к воле, активности, революционной борьбе, а из анализа "Накануне" настоящую революционную прокламацию, так написанную, что она и по сей день не забывается". Ленин, по его признанию, и "Обломова", и "Накануне" "вновь перечитал, можно сказать, с подстрочными замечаниями Добролюбова". То был настоящий переворот. "Добролюбов выбил из меня такой подход", — говорит он о своем прежнем аполитичном, "ребяческом" восприятии Тургенева.

Перед нами ключ к пониманию происхождения легенды. Читая в наши дни то же "Накануне", диву даешься, что когда-то оно воспламеняло сердца жаждой общественного подвига. Какой материал находили в нем для столь высокого горения? Разгадка простая: никто и не горел при чтении Тургенева, — горели при чтении Добролюбова о Тургеневе. Публицистика наделяла литературу тем, чего в ней не было. Триста лет освещение на групповом портрете амстердамских стрелков Рембрандта считалось, по чьему-то почину, — ночным, и только недавно пришли к заключению, что оно дневное, солнечное. Десяток Добролюбовых могли так "осветить" всю нашу

беллетристику, до такой степени "выбить" из читателя нормальный "ребяческий" подход к ней, что целыми поколениями солнечный свет ее принимается за свет фонаря.

Публицистика второй половины XIX века, как клещ, как микроб въелась в нашу литературу, превратив ее в питательную среду для себя. Когда открылась Государственная Дума, К. Чуковский облегченно вздохнул: наконец-то "критики" уйдут в парламент и избавят литературу от своего присутствия. "До сих пор им некуда было идти, и они поневоле все свои парламентские дебаты о лошадных и безлошадных вели под видом критики Фета и Достоевского".

* * *

Если уж говорить о героическом характере, так его надо отнести не к литературе, а к этой самой "критике", т. е. к публицистике. Она действительно оказывала на общественное мнение колоссальное влияние. Один герценовский "Колокол" сделал неизмеримо больше, чем все "Антоны Горемыки" и "Записки охотника". Б. Н. Чичерин – политический противник Герцена, писал ему в 1858 году: "Вы – сила, вы – власть в русском государстве". "Искандер теперь властитель наших дум, предмет разговоров, – писала в своем дневнике Е. А. Штакеншнейдер, дочь известного архитектора. – "Колокол" прячут, но читают все... его боятся и им восхищаются... И имеем мы теперь две цензуры и как бы два правительства, и которое строже – трудно сказать".

Можно ли что-нибудь подобное сказать хоть про одного беллетриста?

Фактом своей деятельности Герцен наглядно опроверг писаревскую теорию. Никакое расписывание "цац" не способно заменить талантливой статьи, памфлета, фельетона или другой чисто пропагандной формы. Если бы было иначе, то И. Эренбург, поставленный советским правительством во главе пропаганды в самый трудный для большевизма момент, не избрал бы этих форм, а продолжал писать романы. Герцен, может быть, первый показал, чего стоит хороший публицист. Но он показал также, что хорошим публицистом не менее трудно сделаться, чем хорошим поэтом или прозаиком. Не

потому ли так мало полноценных публицистов, но очень много плохих романистов, помешанных на "живых вопросах современности"?

Наши эмигрантские газеты и журналы, за небольшим исключением, столь убоги, что их читать невозможно; потребность не только в талантливой, но попросту грамотной статье — самая настоятельная. Между тем, мужи, посвятившие свои перья делу борьбы с большевизмом, не обнаруживают ни малейшего желания улучшить нашу публицистику. Когда им случается снисходить до этого жанра, получается нечто более дубовое, чем их беллетристические опыты. Трудно бывает отделаться от подозрения, что беллетристическая форма, для очень многих, служит средством маскировки их неспособности к публицистической деятельности. Плохой рассказ или роман "с тенденцией" написать гораздо легче, чем хорошую статью. Для статьи нужен острый ум, острое перо, прекрасное образование, эрудиция, глубина и дисциплина мысли, убеждение, темперамент. Для рассказа или романа на "животрепещущую" тему ничего этого не надо, надо только облюбовать какой-нибудь затасканный литературный штамп и набить в нем руку. Считается, что для невзыскательного читателя этого достаточно, а на взыскательного можно прикрикнуть, как на человека политически отсталого.

У выходцев из советской России существует благодарнейшее поле деятельности, в смысле общественно-политического служения, — рассказ о лично пережитом и наблюденном в СССР. И западный мир, и русская эмиграция жаждут таких рассказов. Трудно переоценить их значение, с точки зрения антибольшевистской борьбы. Обстоятельные, хорошо написанные очерки и мемуары способны были бы сыграть такую роль, на которую никакие романы не в состоянии претендовать. Как же воспользовались этой возможностью наши литераторы-борцы? Задача им оказалась явно не по плечу, да они ее и не поняли. Свой драгоценнейший опыт, свои ни с чем несравнимые переживания и знание загадочного для Запада мира они начали облекать в плохую беллетристическую форму, в форму вымысла. Написать "роман о пережитом" — таков был порыв каждого "борца". Прочно привившаяся писаревская идея о неотразимости "художественного" рассказа совлекла наших людей с пути честных и искренних

повествователей на путь расписывания "цац". Если они иногда отказывались от формы романа, то никогда не могли отказаться от "художественности", вследствие чего появлялись произведения ни на роман, ни на мемуары, ни на автобиографию непохожие, но и репортерским очерком их назвать нельзя.

Лучшие книги об СССР, появившиеся после войны, — книги Кравченко и Марголина. Все остальное — исключительно слабо, и слабо как раз по причине своей "художественности". Обнаружилось полное неумение обращаться с фактом, делать его самым выигрышным моментом своего произведения. В этом, надо думать, сказалась школа советского фельетониста-корреспондента. В советской России факт — вещь очень опасная, он никогда не может быть подан в чистом виде, но подлежит сложной обработке, а то и прямой замене вымыслом. К сожалению, даже эта последняя традиция занесена сюда. В нашей печати подвизается несколько неразоблаченных еще Остапов Бендеров, сочиняющих фальшивки с вымышленными фактами и событиями. Но и у более честных правдивость и документальность понимаются весьма своеобразно. Существует, повидимому, убеждение, что подать голый факт может всякий, а мне, литератору Божией милостью, не к лицу скрывать от мира свое дарование. Уж я его принаряжу так, что все ахнут! И принаряжают. И убивают.

Писательское-то мастерство заключалось как раз в том, чтобы не принаряжать. Когда человек уверяет, что видел лицо Горгоны, он не имеет права впадать в вульгарную декламацию и блистать какими бы то ни было литературными приемами. Ему никто не поверит. Рассказ должен быть воплем неподдельного ужаса и отчаяния. Между тем, редкое воспоминание о Соловках и Колыме свободно от литературничанья. Некоторые прямо подражают какому-нибудь известному образцу, например, "России в концлагере" Солоневича, имевшей в свое время большой успех как первая книга в этом роде. И какое это бывает унылое и скучное чтение! Надобно было столько пережить и перестрадать, чтобы сделать из своих мук серенькое, неоригинальное произведение! Воспоминания пишут не кровью сердца, не переживая заново свои страдания, но становятся в литературную позу, рассчитанную на эффект. Тут и увлечение "блатным" жаргоном, и характерная для некоторых советских писателей "уркомания", и предельный

натурализм в описаниях. А самое главное — подача собственной персоны как героя лагерной эпопеи. Один автор даже пострадал на этом деле — расписал свою особу столь ярко, что она выступила в не совсем выгодном свете. Пришлось писать "письмо в редакцию": я — не я. Вот уже к кому пристали слова: "Друг Аркадий, не говори так красиво!". Есть воспоминания, смахивающие на беллетристику очень древней формации, сплошь наполненные лирическими отступлениями и lamentациями. Человек, побывавший в святом святых НКВД — в Смерше, — имел возможность преподнести читателю захватывающую книгу. Вместо этого появилась поэма в прозе о личных переживаниях автора-энкаведиста. Факты описываются из рук вон плохо. Все лица, события, самую обстановку Смерша мы видим, как бы сквозь кисейную занавеску — расплывающимися, с неясными очертаниями, точно описаны они с чужих слов, да еще не от непосредственных наблюдателей. Couleur locale страшного учреждения невозможно почувствовать. Книга воспринимается с недоверием и сразу по прочтении забывается.

О чем бы ни писали — стараемся непременно романсировать. Манеру берем у самых провинциальных школ и авторов, нередко у тех, которых сами же браним за их "отрыв от жизни", за пристрастие к "калашным рядам далекого прошлого". В результате, Апокалипсис нашего времени превращается в развязный фельетон или в стилизованный анекдотически-бытовой рассказ. Своими хождениями по мукам нам так и не удалось тронуть сердца читателей. Сотни наших страниц не стоят коротенького отрывка из Протопопа Аввакума: "Привезли в Брацкий острог и в тюрьму кинули, соломки дали. И сидел до Филиппова поста в студеной башне; там зима в те поры живет, да Бог грел и без платья! Что собачка в соломке лежу: коли накормят, коли нет. Мышей много было, я их скуфьей бил — и батожка не дадут дурачки! Все на брюхе лежал: спина гнила. Блох да вшей было много".

Где у нас эта искренность, простота и сила? Они съедены писательскими замашками, тем, что мы горим не страстным желанием поведать миру о неслыханных ужасах, а жадной литературного успеха, восхищения, аплодисментов. Лавры плохого прозаика нам дороже подвига честного публициста. Благодаря нашей манерности, скверному литератур-

ному вкусу, мир так и не узнал правды ни о большевистском аде, ни о безмерных страданиях народа во времена гитлеровского пленения.

* * *

У Чехова есть рассказ, в котором бабы плачут за обедней при словах "аще" и "дондеже", не понимая их значения. Примерно такой же магией обладают у нас слова: "наше время" и "современность". Произнося их, писатели вырастают на целую голову, в голосе появляется не то набат, не то благовест, а лицо приобретает высокую мину, как на известном портрете Козьмы Пруткова. Современность! Недавно один роман подвергся критике за свои слабые литературные качества. Это вызвало нападки на рецензента; как мог он так отзываться о произведении, в котором отражена современность. Там, где она "отражена" — всякий роман хорош, даже если он плох. Это ничего, что еще Маяковский заметил: "Описание современности действующими лицами сегодняшних боев всегда будет неполно, даже неверно, во всяком случае однобоко". Текущие политические события (а ведь о них идет речь, когда говорят "современность") — редко поддаются сколько-нибудь глубокому осмыслению; для этого надо, почти всегда, отойти от них на некоторое расстояние. Нужен исключительно большой ум и большое сердце, чтобы совершающееся на наших глазах воспринять эстетически и сделать предметом художественного произведения. До сих пор это удавалось только гениям. Остальные даровитые, но менее сильные люди, не решались на это покушаться. Не потому ли текущая политика так редко фигурирует в произведениях крупных писателей? Они брали современность уже отстоявшуюся. Те же, что набрасывались на каждое новое политическое событие, как на свежую редиску, всегда были отмечены знаком литературного казачества и вызывали брезгливое к себе отношение.

Просили мы тогда, чтоб помолчали
Поэты о войне,
Чтоб пережить хоть первые печали
Могли мы в тишине.

Куда тебе! Набросились зверями:
Война, войне, войны!
И шум и крик и хлопанье дверями.
Не стало тишины.

Эта жалоба З. Гиппиус на поведение литературной братии в 1914 году — не единственный случай протеста. После второй мировой войны известный литературовед Б. М. Эйхенбаум (ныне "проработанный" и куда-то задвинутый) — писал о таком же, примерно, поведении советских поэтов. Великие испытания, подобные только что пережитому, повергают людей либо в молчание, либо в чрезмерную болтливость. Все глубокое молчит, все мелкое, пустое — скачет и играет.

А после вдруг — таков у них обычай —
Военный жар исчез.
Изнемогли они от всяких кличей,
От собственных словес,
И юное безвременно состарив,
Бегут, текут назад,
Чтобы запеть в тумане прежних марев
На прежний лад.

Здесь верно отмечена не только оскорбительная для человеческой души суэта вокруг великого события, но и вред ее для литературы. Она несет опасность "юное безвременно состарить" — захватить, залапать неискусными руками народившееся явление и затруднить обращение к нему, как к сюжету, более крупным людям. Исступленное требование "отражать", во что бы то ни стало, современность служит безошибочным признаком "социального заказа". Исходит оно не от литературы, а от политики. Это вовсе не означает недостатка поэтов и романистов, выступающих с подобными декларациями. Курьезны их выступления.

Казалось бы, задача романиста — поменьше требовать романов от других и побольше писать их самому. Если человеку удастся написать хорошее произведение о "нашем времени", так это и будет лучшей агитацией за данный род литературы. Но у нас предпочитают писать очень плохие романы и рассказы, зато грозно требовать чего-то от других. Не трудно

рассмотреть за подобными требованиями простой призыв к литературе второго сорта. У Горького в "Достигаеве" спрашивают монаха: — "Коньяка хочешь?" Где уж там коньяка! — отвечает тот. — Самогону бы!" Когда среди литераторов появляются люди, подхватывающие клич и лозунги политиков, в этом надо усматривать не общественно-политическое горение, а брожение самогона — бунт низкопробной литературы против ее высокого образца.

Такой бунт начинается у нас в эмиграции. Шеренга борзо настроенных графоманов всеми силами стремится снизить зарубежную литературу до своего уровня, совлечь ее с тех высот, на которых она стояла благодаря сохранившейся здесь свободе творчества и наличию крупных имен, выросших в эпоху расцвета российской словесности. Эти имена, в том числе покойный И. А. Бунин, были предметом их постоянно раздражения и насмешек. Весь лагерь И. Л. Солоневича "лягал" их чуть не в каждом номере "Нашей Страны". Они для него были скучны, неинтересны, затхлы, пахли нафталином и не отвечали тому, что требовало от них "наше время". Некоторые враждебные этому лагерю течения проявляли полное с ним единодушие в оценке старых зарубежных писателей. Между ними наблюдалось нечто вроде разделения труда. Если Бунин отдан был на съедение Солоневичу, то враждебный политически, но дружественный литературно лагерь занимался поношением последнего нашего большого поэта Георгия Иванова. Делается это дерзко, вызывающе, с сознанием своей силы или, по крайней мере, безнаказанности. Чувствуется присутствие руки, готовой всегда поддержать и заступиться. И эта рука появляется всякий раз, когда "наших бьют". Объективная литературная критика и оценка произведений стала невозможной. Попробуйте сказать про какого-нибудь автора, что он плохо пишет, — сразу же вступается его партийный патрон. Этот уже разговаривает по-своему, "вручную". Он вам сразу докажет, что сами вы — порядочная дрянь, что если вы и смыслите сколько-нибудь в писательском ремесле, то никаким ощущением действительности не отличаетесь, оторвались от "живой жизни", исповедуете упадочную теорию искусства для искусства, и не таким мелким козявкам, как вы, судить о произведениях людей, чувствующих наше время, несущих в себе "социальный момент".

Зарождается традиция террора против литературной критики.

Отдельные люди и целые партии, ведущие такую литературную политику, должны отдавать себе ясный отчет в последствиях своей деятельности. Они губят остатки высших ценностей, сохранившихся от старой России. Если это делается во имя спасения и освобождения родины, то ни один подлинно русский человек не примет России из рук таких освободителей. Н. Клюев когда-то писал: "Не хочу Коммуны без лежанки!". И мы тоже не хотим России без ее культуры, без "возвышенного чела", которым она отличалась, без того, что делало ее Россией. Такие "освободители" — наши величайшие враги. Мы можем сказать им то же самое, что полстолетия тому назад Аврелий говорил по адресу Ленина: если совершится такое освобождение, и если в новой России они придут к власти — литература будет так же порабощена и упразднена, как упразднена она сейчас в Советском Союзе.

* * *

Эмигрантской литературе предстоит, повидимому, скорая гибель под соединенным напором партийно-политических дельцов и вульгарного писательства, драпирующегося в тогу гражданственности. Вот когда по-настоящему ощущается утрата таких людей, как Бунин. Лет пятьдесят с лишним тому назад Чехов писал: "Когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором". Бунин, конечно, не Толстой, но его фигура, после смерти всех наших корифеев, приобрела огромное символическое значение. К ней вполне приложимы слова А. Блока о том же Толстом: "Гений одним бытием своим как бы указывает, что есть какие-то твердые гранитные устои". Пусть Бунин последние годы жил не в ладах с общественностью и с некоторыми литературными кругами, все же, пока он жив был — "легко и приятно было быть литератором". Существовала верховная литературная власть, возможность обращения на высочайшее имя. Не страшен был никакой напор враждебной стихии. Можно опять, словами Чехова о Толстом, сказать: "Пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, наглое и слезливое, всякие шершавые, озлобленные самолюбия будут далеко и

глубоко в тени”. Теперь все это выползет из своих углов с торжеством, со своими знаменами, вождями, декларациями. И ничего нельзя будет сделать; литература превращается в беспастушное стадо. Истинных ее друзей осталось уже немного, зато перебежчиков во вражеский лагерь — сколько угодно. То немногое, что уцелело от бунинского поколения, от людей, ”рукоположенных лучшим прошлым”, — либо доживает свой век на положении изгоев, либо само удалилось в тишину, чтобы успеть досказать задуманное. Должно произойти обратное призвание этих князей на свои уделы. Необходимо вернуть им право княжить и владеть нами. Надо, чтобы они чаще выносили приговоры, чтобы в писательский сан посвящали они, а не редакторы шумливых газет и не косноязычные публицисты. Это — тяжкий крест, но это — достойное завершение их служения русской литературе. Всем остальным ее друзьям и ревнителям надлежит тесно сплотиться вокруг стариков, образуя защиту от хаоса.

Не будем обольщаться; сопротивление вряд ли обещает быть длительным. Слишком сильна напиральная стихия, слишком незначительны ряды защитников. Темным силам повсюду в наши дни облегчена победа.

Будет некогда день и погибнет высокая Гроя,
Древний погибнет Приам и народ копыеносца Приама.

Умрут последние ”из стаи славных”, порвется последняя связь с лучшим прошлым, цитадель литературы останется под защитой простых средних людей. Тем ответственнее их задача. В безнадежных условиях, обреченные на поражение, они обязаны дать врагу такую битву, от которой остался бы яркий след.

У Клаузевица, в книге ”О природе войны” есть замечательное место: — когда армия разбита и ей ничего кроме капитуляции не остается, у нее блестящий выход — героическая гибель. Такая гибель равняется победе, потому что несет в себе семена возрождения армии в будущем. Русская литература должна дорого продать свою жизнь, знамя ее до тех пор должно развеваться, пока не падет последний защитник. В этом — залог возрождения. Это борьба за будущее России.

ГУМИЛЕВ

У Теофиля Готье есть рассказ, герой которого в компании таких же изысканных и утонченно культурных людей, как он сам, устраивает сеанс гашиша в роскошно убранном старинном отеле. Одурманенный зельем, он попадает в мир видений, и вот что ему грезится: музыка Вебера, ожившие плафоны Лемуана с нимфами и головками амуров, персонажи с картин Гойи и офортов Калло; вместе с масками итальянской комедии танцуют ублюбочные существа с полотен Иеронима Босха и Питера Брейгеля. Потом прошла вереница женщин, созданных лучшими мастерами Возрождения, химеры, сфинксы, обрывки пейзажей, интерьеров... Только ни одного видения из реального мира, из мира желаний или из темных глубин подсознательного. То был бред эстета и эрудита. Надобно жить одним лишь искусством и книгой, чтобы бредить так.

Рассказ этот вспоминается всякий раз, когда перечитываешь Гумилева. Не опыт, не наблюдение, не погружение в тайники своего "Я", но книга, картина, старинное здание, музейная витрина лежат в основе его стихов. Не за это ли так не любил его Блок? Эти два человека, чьи имена перплелись так странно, что им суждено, повидимому, упоминаться всегда вместе, — были во всем "различны меж собой". Блоку, остро чувствующавшему жизнь и мир, прозревавшему в них так много страшного, был чужд и враждебен Гумилев, не желавший знать ни человека, ни жизни, ни бездны, окружающей жизнь, живший в выдуманном, вернее, вычитанном мире, да еще мире явно не русском. Он ведь постоянно витает между экватором и сорок второй параллелью — в Африке, на Леванте, в Индии, в Персии, даже в Китае, среди фарфоровых павильонов, языческих идолов, нильских гробниц, "изысканных жирафов", львов и леопардов. Часто он среди конквистадоров, мореходов, "открывателей новых земель" времен Колумба и Магеллана. Весь этот мир солнца, крови, соленого

воздуха, песков, пальм, смелых подвигов и борьбы, порожден не близкой поэту жизнью, не русской отвагой. Отечественных Ермаков, Дежневых, Крузенштернов, Миклухо-Маклаев он либо не знает, либо презирает. Кумиры его — "Гонзалво и Кук, Лаперуз и да Гама, мечтатель и царь генуэзец Колумб".

Откуда у северянина-петербуржца такая любовь к "колониальной" экзотике? Причиной тому, конечно, не путешествие в Африку. Поехал он туда уже после того, как возлюбил ее по книгам, и поездка не изменила эстетического восприятия черного континента. Африка его так и осталась страной, увиденной не глазом путешественника (это не Африка Стэнли, Ливингстона, даже не Африка Маринетти), а навеянной чужими произведениями искусства. Свой морской и тропический мир Гумилев взял у Кольриджа, Стивенсона, Леконт де-Лиля, Киплинга. Он открыт и отвоеван ими в борьбе с хаосом; наш поэт получил его в наследство. Оттого он и выглядит у него картиннее, наряднее. Если слоны и ягуары Леконт де-Лиля стихийны и плотски убедительны, то в леопардах и жирафах Гумилева есть стилизация. Они "изысканные", почти салонные, ими прельщают скучающих петербургских дам. Не Африка их родина, а Монпарнас.

В Гумилеве чувствуется некая упоенность своим французским вкусом, всем своим европейским обликом. Так и кажется, что он простить себе не может своего русского происхождения. И так странно наблюдать упорное стремление обручить его с Россией.

У известной части эмиграции есть своя политграмма, не менее плоская и не менее пошлая, чем политграмма советская, только с другим знаком. Есть и свой "социальный заказ". Не этим ли объяснить постепенное обволакивание имени поэта грязноватой оболочкой дешевого политиканства? Он — и великий патриот, и рыцарь монархии, и чуть ли не столп православия, и певец подлинной России, не в пример большевизанствующему Блоку. И все потому, что кончил дни в чекистском застенке — факт, повидимому, глубоко посторонний его биографии и особенно его поэзии.

Существовали ли у Гумилева политические убеждения? Стихи его не дают на это ответа. Вернее всего, он принадлежал к тем русским молодым людям, которые своей

аполитичностью и своим абсентеизмом наводили Блока на такие печальные размышления. Первый политический лепет стали они издавать после того, как разгромили их усадьбы, расстреляли родных и близких, а то и самих посадили на "Гороховую 2". За что попал туда Гумилев? За убеждения? За контрреволюционную деятельность? Это тоже неизвестно. Быть может, — ни за что, как прочие миллионы жертв чекистского террора. Дело Таганцева до сих пор покрыто мраком. Говорят, оно было предтечей тех знаменитых процессов, что ошеломили мир лет 10-15 спустя, когда искусство фабриковать заговоры в недрах ГПУ достигло предельного совершенства. Только архивы МГБ могли бы пролить свет на тайну гибели Гумилева. Все, что рассказывается о ней друзьями и близкими поэта, не далеко ушло от легенды. На протяжении сравнительно короткого времени одно и то же лицо уверяет, что никаким монархистом Гумилев не был, умер за поэзию. А потом поэзия отступает на последнее место, и Гумилев умирает, главным образом, за Россию и за монархию.

Если это и было так, то в творчестве его нет к этому ключа.

Та же Россия. Хоть он и утверждает, что ее золотое сердце "мерно бьется в груди моей", но читатель воспринимает этот стих, как "кимвал звенящий". Ведь можно по пальцам перечесть количество раз, когда она случайно мелькает на его страницах среди драконов, пагод и экзотических стран. Даже в бреду предсмертных стихов, упоминается она вскользь. Из трех мостов, по которым прогремел его "Заблудившийся трамвай", только один лежал через Неву, остальные — через Нил и через Сену. Пригрезившиеся ему русские образы представлены куполом Исакия, да простертой рукой медного всадника, остальное не наше, — "Индия духа", роша пальм, нищий старик, умерший в Бейруте, зеленная из сказок Гауфа, где "вместо капусты и вместо брюквы, мертвые головы продают".

Когда вспыхнула мировая война и все крупные наши поэты откликнулись на нее стихами, полными тревоги за судьбы России и человечества, когда даже Маяковский написал гуманистическую поэму "Война и Мир", — один Гумилев восторженно приветствовал пожар Европы.

Барабаны гремите, трубы трубите,
И знамена повсюду высоко взнесены.
Со времен македонцев еще не бывало
Такой грозовой и красивой войны.
Кровь лиловая немцев, голубая французов,
И славянская красная кровь...

Кроме Маринетти, давно воспевавшего войну как гигиену мира, едва ли кто другой в европейской литературе воспринял так величайшую из катастроф. О родине здесь ни слова. Святыни и устремления, во имя которых началась армаггедонская битва народов, не занимают поэта. Пафос сражения, величие зрелища, эстетика войны – вот истинная ценность события. Он не боец одного из станов, он дух, парящий надо всеми и всех подбодряющий. Лишь бы хорошо рубились и красивее проливали свою многоцветную кровь.

И когда в "Пятистопных Ямбах" он находит себе, наконец, место по одну из сторон фронта, мы так и не знаем, которая это сторона? О родине опять ни слова. Пошел он на войну не из любви к ней, а в силу внутренней опустошенности. Путешествуя по разным Левантам, прожег и проиграл лучшее в жизни и возжаждал боевых тревог как средства заполнить образовавшуюся пустоту.

И в реве человеческой толпы,
В гуденье проезжающих орудий,
В немолчном зове боевой трубы
Я вдруг услышал песнь моей судьбы
И побежал, куда бежали люди,
Покорно повторяя: буди, буди.

Он чужой в этой идущей на битву толпе и сам себя ощущает как пришельца.

Солдаты громко пели, и слова
Невнятны были, сердце их ловило:
"Скорей вперед. Могила, так могила!"
.....
Так сладко эта песнь лилась, маня,
Что я пошел, и приняли меня,

И дали мне винтовку и коня,
И поле, полное врагов могучих.

Так поступают в кондотьеры, но не так идут спасать родину.

Нигде не видим, чтобы он страдал за нее или мучительно переживал ее гибель. Ведь он был сыном "страшных лет России", на долю ему выпало быть современником мировой войны и революции. Но даже перед лицом этих циклопических сдвигов и потрясений, когда людям свойственно забывать о своей личной судьбе, Гумилев занят только собой. В тревоге и зловещих предчувствиях, проникших в его стихи, нет страха за Россию, за высшие ценности, но страх за самого себя. То ему мерещится пуля, "что его с землей разлучит", то палач "в красной рубахе, с лицом, как вымя", который срезает ему голову, то какое-то темное возмездие судьбы за всю несправедно проведенную жизнь.

И мы уже не верим, когда в одном прекрасном стихотворении он уверяет, будто его

Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут ясны
Стены нового Иерусалима
На полях моей родной страны.

Такое горение, да еще с оттенком религиозности, ему не свойственно. С Богом у него не более благополучно, чем с родиной. Сказать, что он не верит в Бога — нельзя; он всячески старается примирить с ним свою "вселенскую душу".

"Все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога".

Но гораздо чаще звучат ноты глубокого разлада. Не так, повидимому, просто совместить с Евангелием поэзию буйства жизни, хищности, конквистадорской удали и отчаянных дерзаний. "Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу", сказано в соборном послании Апостола Иакова. И поэт это чувствует.

Вижу свет на горе Фаворе
И безумно тоскую я,
Что взлюбил я сушу и море,
Весь дремотный сон бытия.

Кроткого, любящего Иисуса не встретить на его страницах; всюду грозный и могучий Саваоф — повелитель титанических сил, похожий на вавилонского Бэла-Мардука или на германского Одина. И серафимов он любит за их трубный глас, гремящий полет и за сходство с Валькириями. Но все это больше дань эстетике. Если искать у него что-то похожее на религиозное мировоззрение, то это будет скорей — пантеизм, что-то близкое к религии Спинозы, Ницше, Дарвина. Разве не он звучит в этих стихах?

Веселы, нежданны и кровавы
Радости, печали и забавы
Дикой и пленительной земли.

Не Космосом ли именуется божество, которому поют эти строки? Это в его неисповедимых силах и бесконечных превращениях — тайна, мудрость и святость мира, в котором нет ни добра, ни зла.

Нет конца обетам и изменам,
Нет конца веселым переменам,
И отсталых подгоняют вновь
Плетью боли голод и любовь.

Особенно хорошо это выражено в изумительных по силе и блеску стихах:

Освежив горячее тело
Благовонной ночью тьмой,
Вновь берется земля за дело,
Непонятное ей самой.
Наливает зеленым соком
Детски нежные стебли трав
И багряным, дивно высоким
Благородное сердце льва.

И всегда желая иного,
На голодный и жаркий песок
Проливает снова и снова
И зеленый, и красный сок.
С сотворенья мира стократы,
Умирая, менялся прах,
Этот камень рычал когда-то,
Этот плющ парил в облаках.
Убивая и воскрешая,
Набухать вселенской душой,
В этом воля земли святая,
Непонятная ей самой.

Конечно, и в этих стихах не душа Гумилева, а только его эрудиция. Взяв свой мир из книг, он не мог не взять оттуда же и религию этого мира.

Сделалось обязательным писать о нем как о певце мужества и подвигов. Он и сам себя считал таковым. Подвиг для него ценность абсолютная, не зависящая от цели, которую преследует. Ему найдено почти религиозное оправдание. Так, всякая война для него — Божье дело.

И воистину светло и свято
Дело величавое войны,
Серафимы ясны и крылаты
За плечами воинов видны.
Тружеников, медленно идущих
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих,
Ныне, Господи, благослови.

Попав на войну, поэт почувствовал, что только здесь обретается высшее блаженство:

И счастьем душа обожжена
С тех пор; веселием полна
И ясностью, и мудростью о Боге
Со звездами беседует она,
Глас Бога слышит в воинской тревоге,
И Божьими зовет свои дороги.

Не потому Божьими, что они ведут к высокой цели, а потому, что воевать и побеждать значит уже быть угодным Богу. Под христианской оболочкой видим религию викинга. Гумилев любил представлять себя в этом образе.

Древних ратей воин отсталый,
К этой жизни затая вражду,
Сумасшедших сводов Валгаллы,
Славных битв и пиров я жду.

Но он родился, когда уже были "все пересчитаны звезды" и наш мир "открыт до конца". Там, где ходили каравеллы Колумба и корсарские бриги, — дымят комфортабельные суда пароходных компаний. Арены для блистательных, безумных подвигов не стало. Отсюда разлад его "с жизнью современной", презрение к девушке, которая не понимает и не любит того безумного охотника, что

"взойдя на нагую скалу,
в тоске безотчетной
Прямо в солнце пускает стрелу".

Бессмысленный, бесцельный героизм не принимался ни одной морально здоровой эпохой. Русскому сознанию и всему нашему складу он чужд особенно.

Разбить зимой стекло в царскосельской оранжерее, чтобы окровавленной рукой поднести даме букет похищенных роз, пойти добровольцем на войну, ходить в опасные разведки и заслужить два Георгия, подвергнуться аресту, смело держаться на допросе и мужественно встретить смерть — прекрасно и увлекательно. Но горе герою, если хоть одним словом или движением выдаст, что сделано это не ради успеха у женщины, не из любви к родине, а из тщеславия.

И что это за надрывное стремление к неосмысленному, нецелесообразному подвигу у человека, рожденного, по уверениям всех его близко знавших, вовсе не героем? Выбранные доспехи приходились явно не по плечу и тяготили, хотя нес он их с честью. Во имя чего они были надеты?

Сейчас, после стольких канонизаций его как политического борца, с возмущением будет встречена мысль,

объясняющая подвижничество и всю героику Гумилева — интеллигентской болезнью начала нашего века — самовлюбленностью, самообожанием, славолюбием. Но ведь, поистине, другого бога у него не отыщешь.

Какой там патриотизм или монархизм, когда, по словам Г. Иванова, "Гумилев подростком, ложась спать, думал об одном, как бы прославиться".

Но всего прекрасней жажда славы,
Для нее рождаются короли,
В океанах ходят корабли.

Поэт готов сделаться даже персидской миниатюрой, лишь бы утолить

Без сожаленья и страданья
Мечту старинную свою
Будить повсюду обожанье.

Жажда славы, жажда обожания, вот заветный ларец, в котором заключено его сердце. Он старательно укрыт, как в сказке, — на острове среди океана, на дне колодца, но, не найдя к нему путей, не понять и поэзии Гумилева.

Он остался незримым для толпы, этот бог славолюбия, но только ему одному он молился. Ни одному из тех божеств, чьим жрецом его объявили, никогда не служил. Они были предметами его поэзии, но не предметами поклонения. Они являлись предлогом для прекрасных стихов. Нет поэтому большей грубости, чем подходить к Гумилеву с критическими приемами аристофановских "Лягушек".

"За что же следует уважать поэта?" — спрашивает "лягушачий" Эсхил.

"За то, что мы улучшаем людей в государствах", — отвечает "лягушачий" Еврипид.

Какую глубокую древность имеет Писаревщина!

Советская Писаревщина сбрасывает Гумилева с корабля современности, полагая, что он не улучшает людей в ее государстве. Писаревщина эмигрантская возносит его на этот корабль во имя другого государства, носимого еще в сердцах. Та и другая глухи к словам Гете: "Там, где искусству

вполне безразличен его предмет, там, где оно становится абсолютным, а предмет остается лишь его носителем, там и есть вершина искусства". Во имя искусства образ поэта должен быть реставрирован.

Настало время снять с него слой за слоем все подмалевки, подписки, подрисовки вульгарной политики и критики, всю копоть трех десятилетий. Некоторые назовут это "развенчанием". Но это будут люди, далекие от поэзии, не способные понять, что можно любить закаты и после того, как стало известно, что все очарование вечерних зорь происходит от пыли, засоряющей земную атмосферу.

Кто писал такие стихи, какие писал Гумилев, того развенчать невозможно, и тот не нуждается ни в ретуши, ни в подмалевках. Жемчуг его поэзии сверкает не меньше от того, что, как всякий жемчуг, является порождением болезни раковины.

М. А. Кузмин, один из его соратников по акмеизму, определял задачу поэта так: — пусть каждый молится своему богу, но пусть это делает хорошо. Гумилев молился своему так, как, дай Бог, молиться каждому. И если божество его из таких, которых и в Пантеон пускать не принято, то своими стихами поэт вознес его выше всех других богов.

Не будем искажать смысл и образ его поэзии и подменять это божество нашими собственными кумирами.

ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ

Вкус к истории — самый аристократический из всех вкусов.

Э. Ренан

М. М. Карпович в своих "Комментариях"* предложил мне высказаться по вопросу о судьбе исторического романа в наши дни, в частности, ответить: "можно ли обнаружить наличие таких тенденций в современной культуре, которые делали бы вероятным восстановление исторического романа в прежнем его значении". Ответ на такой вопрос представляет немалую трудность. Мысль людей нашего времени занята не заменой одних видов литературы другими, не эволюцией или воскрешением стилей, а полным исчезновением всяких стилей и всякой литературы.

"Комментарии" М. М. Карповича отделены всего сотней страниц от "Выдержек из писем" Н. А. Бердяева, напечатанных в том же выпуске "Нового Журнала". А там есть строки, полные тревоги за судьбу искусства. Бердяев обеспокоен не "кризисом искусства", а возможностью полного его конца. Такие предчувствия тревожат с некоторых пор весь европейский артистический мир. Семнадцать лет тому назад, в Париже, вышла замечательная и, кажется, недостаточно еще оцененная книга В. В. Вейдле "Умирание искусства", ставящая диагноз и дающая клиническую картину болезни, приведшей к "умиранию" лучшего, может быть, растения европейской культуры. Погибнет ли оно в самом деле или зловещие пророчества останутся памятниками нашего душевного смятения — мы не знаем, но несомненно, на все рассуждения об искусстве ложится отныне надвигающаяся на него смертная сень.

То же в области исторического романа. Сейчас уже трудно гадать, способен ли он после векового господства

* "Новый Журнал", кн. XXXV.

реализма, натурализма, бытового и психологического романа возродиться как явление первого плана. Слишком значительную и "серьезную" литературу породил XIX век и слишком заслонила эта литература прежние образцы исторического романа времен Вальтер Скотта. По справедливому замечанию М. М. Карповича, они попали в категорию "книг для юношества".

С каким презрением относился к историческому роману Чехов, например! Для него, как и для М. М. Карповича, самыми ценными страницами "Войны и Мира" были те, что посвящены "неисторическим" героям. "Не люблю тех мест, где Наполеон! Как Наполеон, так сейчас и натяжка и всякие фокусы, чтобы доказать, что он глупее, чем был на самом деле. Все, что делают и говорят Пьер, князь Андрей или совершенно ничтожный Николай Ростов, — все это хорошо, умно, естественно и трогательно; все же, что думает и делает Наполеон, — это не естественно, не умно, надуто и ничтожно по значению".

Здесь говорит, конечно, не один только автор "Степи" и "Каштанки", создатель импрессионизма в русской литературе, но также человек, стоящий на вершине горы произведений "серьезной" литературы, накопленных девятнадцатым веком. Они как бы наглухо закрыли дверь для исторического рассказа. Правда, М. Цетлин лет тридцать тому назад полагал, что от Вальтер Скотта к Мережковскому исторический роман прошел длинный путь углубления и утончения, тем не менее трудно возражать М. М. Карповичу, когда он констатирует: "Признаков подлинного возрождения исторического романа пока еще не заметно".

Этим и исчерпывался бы весь вопрос. Но речь идет не о "возрождении" жанра, а о путях спасения литературы. Не то ли самое творчество XIX века, что отодвинуло исторический роман в глубокую тень, привело литературу на край гибели? Не на его ли "серьезность" и "зрелость" указывают как на причину катастрофы? Литература сделалась слишком умна, слишком утонченна и слишком совершенна по технике. Авторы стали ценить за ум, за философские откровения, за поставленные в их произведениях "проблемы". Писатели от науки, от философии, вроде Ницше, отодвинули постепенно

на второй план романистов. Книга В. В. Вейдле открывается как раз главой об ущербе вымысла — "самой неоспоримой, наглядной и едва ли не самой древней формы литературного творчества". Вымысел в наши дни — дело несерьезное, все построенное на нем отходит постепенно к той же категории "книг для юношества". В русской литературе особенно не любят "вымышлять". Не любят и повествовать. В солидных наших романах редко что случается, отмирает самое чувство события. Роман перестает быть эпосом.

Но в высшей степени примечательно, что тот же В. В. Вейдле в конце книги с упованием обращает взор именно на детскую и юношескую книгу — на Андерсена, на Жюль Верна. Спасения ждут от "несерьезной" литературы. Пушкинское замечание о том, что искусство должно быть слегка глуповатым, начинает привлекать к себе внимание не на шутку. Мысль искусствоведов и художников занята с некоторых пор изысканием способа впасть в детство. Изобразительное искусство давно вступило на этот путь, обратившись к детскому рисунку, к примитивам дикарской живописи и скульптуры. Но именно опыт изобразительных искусств показал, что когда организм начинает выделять фермент старости, всякие усилия помолодеть и поглупеть становятся недостойными. Литературе, где смысловое начало занимает такое видное место, это особенно трудно сделать. Вряд ли Жюль Верн и Андерсен спасут ее.

Я взял смелость обратить внимание на исторический роман, как на такой вид творчества, где художнику не надо искусственно глупеть, но где таятся возможности юношеской свежести повествования и вымысла. Приходилось уже говорить о роли вымысла в этом жанре, но вопрос о нем надлежит понимать шире. Историю мы воспринимаем как эквивалент вымысла. Рассказ и история в некоторых языках до сих пор, кажется, обозначаются одним словом. Г-жа Простакова, уверявшая, что ее Митрофанушка был "сызмальства к историям охотник", — не так уж сильно погрешила, смешав историю с побасенкой. Исторический материал, лежащий в основе повествования, можно уподобить радиоактивной урановой руде. Он сам по себе обладает эстетическими свойствами. Не потому ли Флобер "до безумия" любил историю? Он был, конечно, неправ, думая, что "эта любовь — нечто новое в человечестве", что историческое чувство существует

со вчерашнего дня и, может быть, это лучшее, что принес XIX век". Историческое чувство существует с незапамятной древности, только в ранние времена его трудно бывает отделить от легенды и мифа. О XIX веке, напротив, можно сказать, что это чувство у него притупилось, несмотря на блестящее развитие исторической науки. Восторжествовало чувство "современности", "живой действительности". Можно ли, например, Чехова представить автором исторического романа? Б. К. Зайцев опубликовал интересный фрагмент своей работы о Чехове.* Антон Павлович за границей. В первый раз после грачей, чернозема, почтовых чиновников, извозчиков и Каштанок, увидел готику, Сан Марко, дворец Дожей, Флоренцию, Рим, словом, историю. И оказалось, что "Рим похож, в общем, на Харьков". Правда, по словам Б. К. Зайцева, Италия произвела на Чехова сильное впечатление, но куда делись острые чеховские штрихи и мазки, меткие словечки и определения, что так поражают в его рассказах и письмах, когда речь идет о России, о родной жизни и природе? В приведенных отрывках из заграничных писем чувствуются либо робкие и неудачные попытки подсмеять хваленую красоту исторических мест ("А вечер! Боже ты мой Господи! Вечером можно с непривычки умереть"), либо искренняя, но совсем простецкая восторженность: "Здесь собор св. Марка — нечто такое, что описать нельзя, дворец дождей и здания, по которым я чувствую, подобно тому, как по нотам поют, чувствую изумительную красоту и наслаждаюсь". Разве этот плоский жеванный язык — Чеховский? Перед историей вежливо раскланялись, но слов для нее не нашли. Кому Рим, а кому — Харьков. Потому-то Антон Павлович и не любил "тех мест, где Наполеон". "Историческое чувство" у него, как у большинства писателей XIX века, атрофировано. Только немногие, вроде Флобера, которого еще Э. Золя определил как романтика среди реалистов, — хранили его и теплили, как священный огонь.

Когда М. М. Карпович утверждает, что "в начале XIX века расцвет исторического романа был связан с подъемом национализма и с романтизмом", в этом слышится не столько констатация факта, сколько похоронный звон по историческому повествованию. Ему, де, так же трудно воскреснуть,

*"Опыты", Книга Вторая, 1953.

как питавшему его романтизму. Но ведь именно романтизм-то и неистребим в литературе; исчезновение его равносильно исчезновению самой поэзии. Он постоянно воскресает в виде мощных литературных движений, вроде символизма, и постепенно обновляет поэзию. Сомнения в оправданности исторического романа как особого рода литературы порождены реалистическим девятнадцатым веком, захотевшим видеть в реализме "основной метод искусства и литературы".

У М. М. Карповича чувствуется слегка снисходительное отношение ко второй четверти XIX века, когда Вальтер Скоттом "мог интересоваться и восхищаться Пушкин". Выходит, что Пушкину такое увлечение, как будто, не к лицу. "Серьезная" литература второй половины XIX столетия, действительно, так думала и даже бранила поэта. Но в наше время позволительно отнестись к нему иначе. Имя, все-таки, не маленькое — Пушкин. А ведь к нему надо присоединить и имя Гоголя, и имя Жуковского, да едва ли не все дорогие нам имена первой половины прошлого века. Писал же Белинский, что Гоголь "вышел из Вальтер Скотта, из того Вальтер Скотта, который мог явиться сам собою, независимо от Гоголя, но без которого Гоголь никак не мог бы явиться". Нас сейчас коробит, когда тот же Белинский ставит Гоголя "не ниже" Вальтер Скотта, но сам Гоголь принимал это за великую честь. Что это означает, литературную незрелость эпохи или особое чувство искусства, отличное от чувствования его во второй половине того же XIX века? Не будем впадать в соблазн разрешать этот вопрос. Если это, в самом деле, незрелость — она мила нам, как пора цветения, как детство, к которому обращают взор тем чаще, чем ближе к старости. Повидимому, пушкинская эпоха и соответствующие ей эпохи на Западе, стояли ближе к источникам поэзии, чем наше "серьезное" и "зрелое" время. И не остался ли единственным мостиком, соединяющим нас с этой эпохой — исторический роман, заключающий в себе "серьезность", без которой мы уже не можем обходиться, и в то же время — прелесть сочинений для юношества?

Не могу принять упрека в тенденции ограничить писательский размах в области исторического повествования путем устранения всего будничного и повседневного. Писатель не волен тут устранять или не устранять что бы то ни было; оно устранено самим жанром. В истории нет будней. Будни прошлого — праздник для нас. Когда мы стаптываем свои ботинки и выбрасываем в мусорный ящик — они ничьего внимания не привлекают. Это — наши будни. Но перед такими же стоптанными, полуистлевшими сандалиями галло-римской эпохи, выставленными в витрине музея Клюни или в шато Сэн Жермен — мы стоим, как зачарованные. Будни третьего или десятого столетий полны поэзии. Это, как у Блока:

Случайно на ноже карманном
Найдешь пылинку дальних стран,
И снова мир предстанет странным,
Закутанным в цветной туман.

На том же карманном ноже немало пыли, окружавшей поэта, но только пылинка дальних стран обладает способностью преображать мир. Таким же волшебством наделен всякий предмет, дошедший до нас от далекого прошлого — шпага Фридриха Великого, глиняный светильник из хижины римского колона.

Сколько бы ни открывала нам материала история, занимающаяся "повседневной жизнью обыкновенных людей, рассказывающая о том, в каких домах они жили, как одевались, лечились, развлекались", — она не способна воскресить будничности ушедших времен. Каждый исторический факт, большой или малый — новость для нас, неповторяемость, иной мир. Не для сюжетных ограничений говорю об "избранном мире полководцев, героев, королей, знаменитых битв и значительных событий", но беру его как наиболее яркое проявление "инобытия", постигаемого через историю.

СОБЛАЗНЫ ИСТОРИИ

С некоторых пор в русской эмиграции обнаружился повышенный интерес к истории. Имеется в виду не та эпоха двадцатых-тридцатых годов, когда за границей подвизалась большая группа блестящих русских профессоров-историков, таких как Ростовцев, Виноградов, Васильев, Лаппо, Шмурло, Кизеветтер, Вернадский. Труды их высоко оценены западным миром. Имена их войдут в Пантеон русской культуры.

Но здесь речь не о них и не об их наследстве, а о людях, никаких трудов не писавших, но смело и горячо спорящих по вопросам истории. Каждый разговор на историческую тему превращается у них в жаркую политическую дискуссию: "Погибла ли Россия?", "Является ли СССР Россией?" – вот их любимые темы.

Была у меня переписка с одним почтенным доктором, требовавшим точного объяснения причин современных событий, занимавших его. Все мои уговоры – не считать историю ни "учительницей жизни", ни прикладной наукой, способной объяснять настоящее и будущее, не имели успеха. "Если история ничему не учит, – ответил мне доктор, – или учит очень малому, то эта наука есть сборник занимательных рассказов и жизнеописаний замечательных людей. Она – как бы подраздел изящной словесности со специальным интересом для психиатров и психологов. Она нужна для получения магистерского звания и воспитания патриотизма в юношах".

Надо ли пояснять, что тут слышим голос не академически воспитанных историков, а людей, захваченных политическими страстями и размышлениями. История прельщает их не утолением жажды знания, а желанием получить ответ на волнующую тему. Большую популярность приобрели так называемые "вольные философы" типа Бердяева, Федотова, Степуна, отказавшиеся от изучения истории и заменившие его интуитивным "постижением". Так, устанавливали они

генетическую связь между "Москвой Третьим Римом" и "Третьим Интернационалом", давшую им право объявить Россию извечным носителем идеи коммунизма и мирового господства. "Открытие" было подхвачено и имело большой успех. Но никому в голову не пришло заняться монографическим изучением этого сюжета. Монографическое изучение в эмиграции, вообще, замерло и вместо исследовательских работ, вводящих в научный оборот новый материал или новые точки зрения, усилилась тенденция писать водянистые общие обзоры от Рюрика до Ленина и возросла страсть к вольным суждениям, отмеченным знаком не объективного познания минувшего, а политическими страстями и спекуляциями нашего времени.

* * *

Давно установлено, что блестящее развитие физико-математических и биологических наук не мало способствовало перенесению их методов на дисциплины гуманитарные, в том числе, на историю. Вошли в обиход выражения: "законы истории", "причинно-следственная зависимость", "железная необходимость".

Никому, однако, не удалось сформулировать ни одного закона истории. Объектом исторического изучения является человек — существо, резко отличающееся от предметов мертвой и всех видов живой материи. Наличие ума, воли, желаний, побуждений этического, религиозного, культурного порядка, делают это явление не подводимым ни под какие "закономерности".

Законы естественных наук выведены путем эксперимента и зиждутся на принципе повторяемости явлений. Но никакого эксперимента не может себе позволить историк-исследователь. Предмет его изучения отделен от него морями времени, находится всегда вне поля непосредственного рассмотрения. Понятие о нем составляется на основании письменных или археологических источников, часто очень скудных. Даже, если их много, они никогда не дают полной и точной картины реального события. А бывают настоящие провалы в источниках. Взять хоть бы такое грандиозное

событие, как дунайские походы Траяна во втором веке нашей эры. В сравнении с ними, завоевание Галлии Юлием Цезарем было мелкой колониальной войной. Но книга Цезаря о галльской войне дошла до нас и отвела этой войне большее место в истории, чем ей полагалось бы, а от нескольких томов описания походов Траяна сохранились одна фраза в труде грамматика шестого века, да несколько отрывков из греческого произведения, писанного, как полагают, лейб-медиком императора.

Вот один из примеров тщеты поисков "закономерностей" в истории.

Нет в ней и повторений. Выражение: "история повторяется" придумано не историками, а безответственными "мыслителями". *Историческое есть качественно единственное.* Это главное, что надо знать об истории. Сторонники "закономерностей" отстраняют этот тезис, рассматривают историю не с индивидуализирующей, а с обобщающей точки зрения. "Обобщения" – один из приемов искажения истории.

Величайшими "обобщителями" являются большевики. "История это политика, опрокинутая в прошлое" – провозгласил М. Н. Покровский. Ему же принадлежит другой лозунг: – "История самая политическая из всех наук". Оба лозунга делают ненужным ее изучение. Она укладывается в готовую политическую схему.

Любопытно, что в России предшественником такого историософского взгляда был человек клерикально-католических воззрений, хотя и православный по крещению – кумир русской "прогрессивной" интеллигенции, знаменитый П. Я. Чаадаев. Исследовательское начало объявлено им ненужным, вредным, отвлекающим разум от "истинных поучений". "К чему эти сопоставления веков и народов, которые нагромождает тщеславная ученость?... Ни отыскивать связь времен, ни вечно работать над фактически материалом – ни к чему не ведет... Истории в наше время нечего делать, кроме, как размышлять".

Писано это, когда изучение египетских иероглифов и ассирийской клинописи только начиналось, когда мир ничего не знал еще ни об ахеменидской Персии, ни о хеттской культуре. Все великие открытия девятнадцатого века были еще впереди, а наш философ уже тогда объявил их ненужными.

История для Чаадаева не загадка, не тайна, а нечто познанное в своей сущности. Как для большевиков все непреложные законы открыты Марксом и неизбежно ведут к коммунизму, так у Чаадаева человечество идет к царству Божию, и задача историка сводится к созерцанию божественной воли, "властвующей в веках и ведущей человеческий род к его конечным целям".

Распространена манера "осмыслять" современность через историю; ищут виновников теперешних бедствий не в настоящем, а в прошлом, иногда, в очень далеком. Упускается из вида непременно условие: — хорошо знать свое собственное время. Но не было еще человека, "познавшего" свою эпоху, это все равно, что увидеть Монблан, стоя у его подножия. Каждая эпоха открывается не современникам, а поздним поколениям. Современники меньше всего имеют права делать о ней какие-либо заключения. Недаром в дореволюционных университетах диссертации на темы совсем недавнего прошлого не допускались к защите.

* * *

Но, может быть, история, в самом деле, не наука и ничему не учит или учит слишком малому, как писал мой корреспондент доктор В.? Термин "наука" в ученом мире до сих пор не распространяется ни на историю, ни на литературоведение, ни на искусствоведение, ни на одну из гуманитарных дисциплин. Они стоят отдельно от "подлинных" наук — математики, физики, астрономии. Ни ролью точной науки, ни ролью "учительницы жизни" история не может похвастать. Утилитарное ее значение не принимается во внимание даже теми, кто делает историю — царями, президентами, министрами, знающими ее чаще всего в размере гимназического курса, а то и вовсе не знающими. Нет, пожалуй, ни одной стороны государственной либо общественной жизни, где бы история чему-то помогала и обнаружила практические свойства. Нужна ли она, вообще?

Большевики одно время решили, что не нужна, и отменили ее преподавание в школе. Заменяли "обществоведением". Но снова восстановили в правах через несколько лет.

Факт этот любопытен. Что бы ни говорили о бесполезности, "ненаучности" истории, она всегда занимала большое место в культурном обиходе человечества. Еще в древности ее ценили и перевозили. Чтение Геродотом своего труда на Олимпийских играх сопровождалось овациями. Впоследствии Плиний говорил, что всякая история, даже плохо написанная, бывает приятна. "Еще не зная употребления букв, народы уже любят историю", — писал Карамзин. За что любят? На это трудно ответить. За что любят поэзию? За что любят музыку? Для всех поборников идеи политического и утилитарного значения истории упоминание ее в одном ряду с поэзией — лучшее доказательство ее ненужности. Но у кого в наши дни повернется язык сказать о ненужности поэзии? Между тем, исследователями выяснена древнейшая связь ее с историей.

Прежде чем стать наукой, история была поэзией. Даже по форме. В дописьменные времена она излагалась в стихах. Так продолжалось чуть не до Геродота. Но и с возникновением письменности, с появлением обширных трудов, поэтический характер продолжал отличать сочинения по истории. Даже в новое время, до самого девятнадцатого века она относилась к числу изящных искусств.

"История — мост между наукой и искусством" — выразился один из современных философов. Подлинная ценность исторического знания открывается людям, способным чувствовать "дыхание веков", выразился Флобер. Этим чувством могут обладать, по его мнению, "даже бесхитростные умы". Вспомним гоголевских героев — рассказчиков, вроде Рудого Панько: "Что за радость, что за разгулье падет на сердце, когда услышишь про то, что давным давно ни года, ни месяца ему нет, деялось на свете!"

Конечно, подобные повествования, в большинстве случаев — сплошные легенды, но в них — зерно "исторического чувства", столь ценимого Флобером.

* * *

Почему же историю все-таки называют наукой?

Ответ, обычно, связывают с именем Джамбатисты Вико — итальянского философа восемнадцатого века, который,

будто бы поставил изучение истории на подлинно-научный путь своим сочинением о развитии человеческого общества. Он видел это развитие в извечно повторяющихся циклах: — эпоха богов, эпоха героев, эпоха людей. Это первая значительная попытка "обобщающего взгляда" на историю, от которой пошли позднейшие обобщения вплоть до марксистской точки зрения. Это и было объявлено "научным" методом. Но уже в XIX веке начала привлекать внимание фигура другого итальянца XV-го века, Лоренцо Валла, доказавшего в особом трактате подложность "Константинова дара" — грамоты, будто бы выданной императором Константином, на основании которой римские папы считали себя светскими государями в Италии.

Именно это открытие положило начало выделению истории из сонма изящных искусств, философских и религиозных упражнений. В нем восторжествовала идея утверждения факта как носителя исторической истины.

Против гегемонии факта восставал не один наш Чаадаев, но целый ряд подобных ему писателей на Западе. Они твердили: накапливать факты бессмысленно; над ними надо размышлять, а не увеличивать их число. Однако вся плеяда исследователей устремилась на открытие новых и новых фактов. Появилось источниковедение, началась разработка архивов, издание документов и рукописных материалов, привлечены вспомогательные дисциплины — археология, нумизматика, эпиграфика, сфрагистика. Открылись неизвестные дотоле области прошлого. Никакие "размышления" не обогатили так наших сведений о всемирной истории и об истории отдельных стран, как эти трудолюбивые исследователи. Только их усилиями история поставлена на путь науки.

Только глубокое знание людей, событий, всех особенностей эпохи дает право на "размышления" и выводы. Оно же воспитывает истинное понимание исторического процесса как величайшей тайны бытия и человеческого духа.

||

ТЕНЬ ГРОЗНОГО

В Москве вышла любопытная книга, наводящая на размышление самым фактом своего появления. Как часто мы здесь, в эмиграции, сокрушаемся по поводу упадка нашей прессы, исчезновения издательств, прекращения возможности печататься. У многих опускаются руки и останавливается творческая деятельность. Но вот нам явлен пример, зовущий к работе при любых обстоятельствах. Если вашими побуждениями управляет не тщеславие и жажда популярности, а само творческое устремление, то никакие издательские кризисы и редакторские зажимы не могут считаться препятствием. Пусть зажимают, изгоняют, — все равно пишите. Есть некая мистическая уверенность, что истина, где бы ни родилась, пробьется к свету.

Перед нами труд, писанный в подпольи, без всякой надежды на опубликование, потому что подрывал государственно и партийно апробированную точку зрения на один из ярких эпизодов русской истории. И все-таки, через двадцать лет, работа появилась в печати и займет почетное место в ученой литературе. Называется она "Исследования по истории опричнины".*

Всем известно, кем превозносилось совсем недавно кровавое дело Ивана Грозного. В воспоминаниях артиста Н. К. Черкасова, игравшего главную роль в фильме "Иван Грозный", рассказано, как он, вместе с постановщиком Сергеем Эйзенштейном, был принят Сталиным 24 февраля 1947 года перед началом работ над второй частью картины. "Говоря о государственной деятельности Грозного, товарищ И. В. Сталин заметил, что Иван IV был великим и мудрым правителем, который ограждал страну от проникновения иностранного влияния и стремился объединить Россию. В частности, говоря о прогрессивной деятельности Грозного, товарищ И. В. Сталин

* С. Б. Веселовский, "Исследования по истории опричнины".
Изд-во Академии Наук. М. 1963.

подчеркнул, что Иван IV впервые в России ввел монополию внешней торговли, добавив, что после него это сделал только Ленин. Иосиф Виссарионович отметил также прогрессивную роль опричнины. Малюта Скуратов был крупным русским военачальником, героически павшим в борьбе с Ливонией”.

Каким образом сложились у Сталина такие взгляды? Он, во всяком случае, ни разу не беседовал на этот предмет с историками. Не он у них, а они должны были учиться у него и у тех, которые выражали точку зрения вождя. ”Наставлять историков на путь истинный взялись литераторы, драматурги, театральные критики и кино-режиссеры”.

Меньше всего пришлось наставлять старого московского профессора всеобщей истории Р. Ю. Виппера, опубликовавшего еще в 1922 г. книгу об Иване Грозном. Будучи эмигрантом и проживши около 20 лет в Риге, Виппер лишь после советской оккупации Латвии вернулся в родной Московский Университет. Книга его, расцененная в свое время как монархическая, оказалась теперь образцом партийно-коммунистического взгляда на Грозного и его опричнину. Она выдержала два новых издания — в 1942 и в 1944 годах, а в 1945 году им выпущена брошюра ”Иван IV”, предельно заострявшая и усиливавшая прежние оценки и характеристики царя как ”создателя централизованного государства и крупнейшего политического деятеля своего времени”.

Не надо было долго учить и тех историков, что прошли перед тем сталинскую тюрьму и ссылку. Так С. В. Бахрушин, трезвый исследователь, всегда очень осторожный в широких обобщениях, должен был в своем ”Иване Грозном”, вышедшем в 1942 году, повторять славословия по адресу царя — ”крупного государственного деятеля своей эпохи, верно понимавшего интересы и нужды своего народа и боровшегося за их удовлетворение”.

Таковыми же превознесениями полны все прочие работы, вышедшие в сороковых годах. Самое их появление в большом количестве, сразу после ежовщины, знаменательно. Оправданием террора Грозного оправдывался сталинский террор. Направляющая партийная рука видна здесь ясно. Завершилось все, как известно, постановлением воздвигнуть грозному царю памятник в Москве.

Легко представить, какой могильный камень положен был на свободное научное исследование в эти годы. Но в эти

годы как раз и начал "отшельник в темной келье" писать свой труд о самом кровавом событии русского прошлого.

* * *

Академик Степан Борисович Веселовский, никогда не выпускавший популярных книжек, не искавший успеха на лекторском поприще, остался почти неизвестен широкой публике. Но он приобрел высокое имя в ученых кругах и принадлежит к числу самых значительных русских историков. В ряде областей, особенно в истории поземельных отношений Московского Государства, он был первым авторитетом. Его знание первоисточников печатных и рукописных — совершенно изумительно. Такое хранилище, как Московский Архив Министерства юстиции и Министерства иностранных дел, известно ему вдоль и поперек. Будучи до революции человеком состоятельным, он набрал целую артель переписчиков, с помощью которых скопировал множество актов этого архива, так что мог заниматься исследованиями, сидя у себя дома. Стены его квартиры уставлены были сверху до низу полками с копиями материалов в виде толстых серых томов. Весьма возможно, что репутация архивного затворника, далекого от политических интересов, спасла его в годы великого избиения русских историков; он избежал ареста по делу Платонова-Лихачева-Любавского, несмотря на то, что за год до этого лишен был избирательных прав как бывший богач и домовладелец.

Заметки об опричнине написаны им в 1940-1945 годах, то есть в годы, сразу же последовавшие за ежовщиной, и в период наибольшего превознесения имени Грозного. Фильмы Эйзенштейна показывались в это время по всей стране, исторические романы вроде трилогии В. Костылева "Иван Грозный" издавались большими тиражами, о них писались хвалебные рецензии. Все вместе сливалось в единый хор прославления опричнины. Сближение дела Грозного с делом Сталина настолько бросалось в глаза, что понятно было младенцу.

Совершенно очевидно, труд, предпринятый С. Б. Веселовским, мог вестись только в глубокой тайне. Это не значило, что отдельные его части, вроде "Духовного завещания царя Ивана 1572 г." или "Синодик опальных царя Ивана как

исторический источник”, не могли появляться в печати. Их сугубо источниковедческий характер никого не навел на мысль о пересмотре целого исторического сюжета. Столь же невинной казалась статья о монастырском землевладении во второй половине XVI века, содержащая экскурс в область земельной политики Грозного. Но вся работа в целом, заключающая основные мысли автора, не только не могла быть опубликована, но и поведана самым близким людям. В будущем, вероятно, обнаружится не мало таких тружеников, писавших долгие годы ”для ящика своего письменного стола”. Может статься, что как раз их имена, а не те, что блистают сегодня, будут определять лицо русской культуры.

* * *

Труд С. Б. Веселовского – незаконченное и неотделанное произведение, не книга, а ряд очерков. Нет общей композиции, нет завершающих мыслей, охватывающих всю тему, даже отдельные очерки представляют собой наполовину обработанный материал. Есть основание думать, что он был прерван по какой-то внешней причине, быть может, по боязни доноса и обыска. Обстановка создалась, по-видимому, опасная даже для келейного продолжения работы. Началась ждановщина, пошли ”проработки”. Крылом послевоенной реакции задет был и наш историк. Его ”Феодальное землевладение в северо-восточной Руси” хоть и напечатали, но снабдили предисловием, вскрывающим его немарксистский характер. Подновили наложенное еще со времен Покровского клеймо ”буржуазного” ученого. Самое же главное, культ Грозного после войны усилился; в постановлении ЦК ВКПб от 4 сентября 1946 года опричнина объявлялась мероприятием первостепенной важности в деле создания русского государства. Всякое инакомыслие было поставлено под удар.

По этой или по другой причине, но с 1945 года до самой смерти историка, последовавшей в 1952 году, он не написал ни одного нового очерка об опричнине и, видимо, не занимался приведением в порядок ранее написанного. И все же, несмотря на полусырой вид, в котором она появилась, книга С. Б. Веселовского может считаться самым интересным,

самым ярким высказыванием об опричнине, после знаменитой второй главы "Очерков по истории Смуты" С. Ф. Платонова. Об этой главе необходимо сказать несколько слов по той причине, что на нее направлен весь огонь полемики Веселовского. Если он не вступает в спор с кинорежиссерами и литературными критиками, если обходит работы Бахрушина, Вишпера, И. И. Смирнова, то труд Платонова вызывает в нем почти раздражение. Временами кажется, будто "Исследования" написаны как антитеза платоновской точке зрения.

* * *

Высказывания автора "Смуты" явились как бы последним словом дореволюционной русской историографии, они оказали наиболее сильное влияние на умы, усвоены были не только наукой, но вошли в школьное и университетское преподавание, в популярные книги и очерки, сделались в некотором роде общепризнанными. Они впервые, может быть, отделили Грозного от опричнины, превратив ее в закономерное историческое явление, обусловленное объективными процессами русской социально-экономической жизни, а вовсе не нравом и темпераментом царя. Личные свойства Ивана могли придать ей кровавое обличье, но не общий смысл. Значение ее как большой реформы, направленной на ликвидацию боярско-вотчинного режима и на мобилизацию земель для раздачи нарождавшемуся служилому дворянству, — определено самой историей. Личность Грозного тем самым оправдывалась, если не морально, то государственно-политически; его характеристика умного, дальновидного и твердого правителя, разрубившего гордиев узел русской жизни, приобретала солидный базис.

Веселовский отрицает за опричниной значение важной государственной реформы и не видит в ней никакого разумного основания. Ни одной насущной проблемы того времени она не разрешила и не могла разрешить, потому что возникла не с той целью, какую приписывают ей историки XIX-XX вв.

Сокрушение платоновской точки зрения начинается с разбора главной тезы второй главы "Очерков по истории Смуты", сформулированной так: "В центральных областях

государства для опричнины были отведены как раз те местности, где еще существовало на старых удельных территориях землевладение княжат, потомков владетельных князей". На этих, взятых для нее землях, — по словам Платонова, — "опричнина подвергала систематической ломке вотчинное землевладение служилых княжат вообще, на всем его пространстве".

Веселовский считает это полным недоразумением. В областях, перешедших в опричнину, нечего было ломать. Княжеских вотчин там не наблюдалось, они были ликвидированы еще дедом и отцом Ивана. Если же существует какое-то сомнение в отношении ростовских княжат, про которых подлинно неизвестно, были они в то время вотчинниками или владели землей уже на новых основаниях, то известно, что никаким выселениям и "ломке" они не подвергались. Сохранилось в Тверском уезде несколько вотчинных сел князей Телятевских и Микулинских, но Тверской уезд не был взят в опричнину. Сами Телятевские зато служили в опричнине. Не попали в опричнину ни Оболенские, ни Стародубские княжения, где еще уцелело несколько вотчин. Что же касается Суздаля и Ярославля, то Веселовский ссылается на прямое свидетельство летописей, согласно которым ярославские князья и многие суздальские лишились своих вотчин в XV веке. Дед Грозного сделал это, не прибегая к опричнине. Веселовский напоминает читателю, что за последние два десятилетия XV века Иван III лишил всех княжат суверенных прав — суда, дани, независимости от наместников и волостелей. Грозному нечего было делать в этом направлении. Сам он, задолго до опричнины запретил особым указом в 1550 году митрополиту и владыкам принимать к себе на службу детей боярских без особого разрешения царя, а в 1556 году обязал служить всех землевладельцев царю и никому другому. Важные эти распоряжения, наносившие последний удар удельно-вотчинному порядку, сделаны были в период пребывания у власти Избранной Рады и тех самых советников, на которых Грозный завел опричнину. Все это дает право нашему историку поставить недоуменный вопрос: на чем же основано общепринятое в исторической литературе мнение, будто княженецкое землевладение представляло большую силу и будто царь Иван, учреждая опричнину, поставил себе задачей искоренить аграрную знать? Объясняет он это исключительно незнанием фактов,

пренебрежительным отношением к источникам, нежеланием в них погружаться, а также властью модных теорий и эффектных концепций.

С. Ф. Платонова он обвиняет, кроме того, в погоне за лекторскими лаврами, полагая, видимо, что для снискания популярности у своих университетских слушателей (по преимуществу, марксистско-народнических в те дни), почтенный ученый впадал в соблазн экономического материализма. Вряд ли это справедливо. Слава С. Ф. Платонова как лектора покоилась не на модных теориях и идеях, а исключительно на большом знании истории и на словесном мастерстве. Что же до экономического материализма в его зомбартовской редакции, то он сделался историческим методом не одного Платонова, но всей школы В. О. Ключевского, к которой Платонов себя относил и к которой принадлежал сам С. Б. Веселовский. "Сошное письмо" и прочие его работы по аграрной истории вызваны к жизни господством этого метода. Тяготел он над ними и в период его деятельности в РАНИОНе (вторая половина 20-х годов), о чем свидетельствовали его выступления на заседаниях Института Истории и в собственном семинаре. Не слышно было его высказываний и об опричнине в ином духе, чем у Платонова. Правда, сюжет этот не занимал его до самых сороковых годов. Если же он им увлекся и отказался от платоновского подхода, вернувшись к пониманию огромного значения в истории личности и факторов нематериального порядка, то в этом надо видеть целый сдвиг. Вряд ли в таком сдвиге повинна новая теория, следов которой пока не замечаем. Причину надлежит искать в чем-то другом.

* * *

Объявив ломку удельно-вотчинного землевладения сплошным мифом, он считает таким же мифом приписанную опричнине мобилизацию земель в пользу мелкопоместного дворянства и детей боярских. С территорий, отписанных в опричнину, большинство мелкопоместных выселено вместе с крупными землевладельцами. В опричный двор взяты немногие. Нет материалов, могущих доказать, будто мелкое служилое сословие в чем-то выиграло от опричнины,

зато известно, что пострадало от нее больше, чем боярская знать. Характерен случай с Новгородом. Там со времен Ивана III не существовало крупного боярства; этот "разумный самодержец" вывел его в рязанские, владимирские, коломенские пределы, а вотчины поразделил между служилыми людьми, посланными из Москвы. Он насадил там тот вид землевладения, ради торжества которого, будто бы, учреждена была опричнина. Грозному надлежало бы усматривать в новгородских помещиках свою социальную опору, между тем, он разорил и истребил их не хуже знатных бояр. То же со Псковом.

Веселовский отрицает правдивость показаний Таубе, Крузе и Генриха Штадена, будто приспешников своих царь набирал из худородных и простых людей. "Командная верхушка опричного двора, — говорит он, — в генеалогическом отношении была ничуть не ниже титулованного и нетитулованного дворянства старого государева двора". Там даже местничество продолжало существовать. Некомандная часть состояла точно так же в значительной степени из старого служилого сословия. Жертвы опричнины в гораздо большем числе насчитываются в низах — у рядовых помещиков и простолюдин. Их выселяли, ссылали и казнили сотнями и тысячами. "Демократизм" Грозного — легенда.

Веселовский недоумевает: если опричный террор задуман и направлен был против старой знати, то что за смысл в истреблении ее слуг и крестьян? Штаден и Шлихтинг красочно описывают, как после казни боярина И. Ф. Федорова царь сам ездил по его усадьбам со своими "кромешниками", избивал мужиков и дворню, жег села, уничтожал скот. Синодики, перечисляющие жертвы таких экспедиций, полны записями, вроде: "в Ивановском Большом православных христиан семнадцать человек, да четырнадцати человек ручным усечением конец прияша... В Ивановском Меньшом: Исаковы жены Заборовского тринадцать человек, да седьм человек рук отсечением скончавшихся. В Бежецком Верху Ивановых людей шестьдесят пять человек, да дванадесять человек скончавшихся ручным усечением, имена их Ты Господи веси..." Когда же доходит до новгородского погрома, жертвы исчисляются тысячами. "По малютинские ноугородские посылки отделано скончавшихся православных христиан тысяща четыреста девятыдесят человек, да из пищали пятнадцать человек, им

же имена сам Ты Господи веси”.

Если не брать в расчет беспримерного и совершенно необъяснимого истребления новгородцев, которых ”отделано” до 10.000 и которые ни с какой стороны ни к боярству, ни к вотчинному землевладению не имели отношения, то и тогда процент убитых простых людей — мужиков, дворян, посадских и мелких помещиков неизмеримо превышает процент бояр и высших чинов. Как это согласовать с тем смыслом, который приписывается опричной политике Грозного?

Не прошел Веселовский и мимо давно известного факта запустения полей — результата хозяйничанья опричников. В некоторых уездах до 90% крестьянских дворов лежало впусе, так что не одни историки, но и современники Грозного объясняли военные неудачи конца его царствования этим экономическим кризисом. О ”прогрессивности” опричнины в свете таких данных можно говорить только иронически.

* * *

С. Б. Веселовский считает ее неумным делом, хотя бы потому, что просуществовав шесть-семь лет, она доказала свою непригодность и была уничтожена Иваном с таким же ожесточением и казнями, с какими он громил прежний порядок. Пользы от нее не было даже для знаменитого ”укрепления самодержавной власти”, вред же неисчислимый. Не видит Веселовский в личности Грозного и того величия, которое ему часто приписывают. Напротив — он трусливый тиран, смелый на избиения беззащитных подданных, но спасающийся бегством от подлинной опасности. Так, он дважды убежал при нападениях Девлет Гирея в 1571 и 1572 годах, оставляя Москву и весь край на поток и разграбление.

Не с лучшей стороны представляется он и во время знаменитого удаления в Александровскую слободу, перед учреждением опричнины. У Иоганна Таубе и Эллерта Крузе есть указание на любопытную подробность: когда царь, после полугодового пребывания в опричной берлоге, вернулся в Москву, он был неузнаваем — выпала вся борода и все волосы на голове. В большинстве случаев это преобразование толкуют в благоприятном для Ивана смысле. Один из наших

религиозных философов вспомнил недавно об этой вылезшей бороде и поставил ее в связь с душевными терзаниями, охватившими, будто бы, царя перед принятием страшного решения. Совесть знал! Бога боялся! Веселовский объясняет иначе. Переживания царя действительно были сильны, но не по причине моральных и религиозных сомнений. За все время опричных неистовств он не испытывал ни малейших угрызений; не только тела своих жертв умерщвлял, но принимал меры и к погублению, по тогдашним верованиям, душ, оставляя убитых без погребения и без поминовения. Только к концу царствования, после упразднения опричнины, начали вспоминать имена, записывать в синодики и рассылать деньги по монастырям для молитв об упокоении душ казненных. Борода вылезла не от страха Божия, а от вульгарного страха за собственную шкуру. Анализируя обстановку конца 1564 и начала 1565 годов, Веселовский пришел к заключению, что, подготавливая государственный переворот, царь, несмотря на тщательную его продуманность и подготовку, не был полностью уверен в удаче и считался с возможностью проигрыша. А так как на карту поставлены были жизнь и трон, то причин для нервного напряжения было достаточно. Но где же тут высота и смелость духа, наблюдавшиеся у многих великих узурпаторов, чей риск был гораздо больше? Почему ни у Цезаря, ни у Наполеона не выпадала борода, когда они переходили свои Рубиконы?

* * *

Страсть, с которой С. Б. Веселовский негодует по поводу превознесения добродетелей Грозного и оправдания его террора, не может не удивлять всех знавших его прежнюю академическую уравновешенность. За ученой манерой изложения кроется такой протест против бесчеловечности, творившейся в Москве четыре века тому назад, который находим только в записках очевидцев и современников, вроде Курбского и Шлихтинга. Откуда такая взволнованность у нашего историка? Над ответом не приходится задумываться: она, конечно, порождение живого зрелища нового подобию опричнины.

С. Б. Веселовский, как всякий простой смертный в Советском Союзе, не располагал другой информацией по части высокой политики, кроме того, что непосредственно видел, слышал, вычитывал из газет. Его осведомленность была безусловно меньше эмигрантской; но ум, впечатлительность и близость к театру страшных действий открыли то, чего не могут открыть до сих пор присяжные эксперты, неспособные удовлетворительно объяснить сущность сталинского террора. Если террор Ленина-Дзержинского имел известную партийную логику, то сталинский никакому осмыслению не поддается. Годы 1934-1939 остаются по сей день такой же загадкой, как годы 1564-1571. И не потому ли, что в сталинском неистовстве, как в неистовстве Грозного усматривают либо скрытый государственно-политический смысл, либо безумие? Версия о сумасшествии "отца народов" высказана очень солидными людьми. Но что если правы не эти искушенные политики, а простые смертные, инстинктивно отвергающие как то, так и другое объяснение? Они найдут в книге Веселовского большой материал для размышлений.

Я далек от мысли приписывать такому солидному ученому, как С. Б. Веселовский, пошлый метод "проекции" политики в прошлое, насаждавшийся некогда М. Н. Покровским. Не допускаю, чтобы его увлекали и плоские аналогии между XX и XVI веками. Но несомненно, события 1934-39 годов наложили печать на его исследование. Отмечаю это не для умаления его труда и таланта, а как раз наоборот, вижу в этом признак большого дарования. Огромная роль интуиции в процессе познания и научного исследования так прочно ныне обоснована философией и экспериментальной психологией, что только у безнадежных доктринеров может встретить непризнание. В основе всех великих открытий лежит догадка, как момент предшествующий формально логическим заключениям. Во взгляде нашем на прошлое роль интуитивного постижения так же исключительно велика и одним из моментов, его обостряющих, является знание собственной эпохи, внимательное присматривание к своему времени. Не законно ли предположить, что ключ к новому пониманию причины обретен в обстановке второй половины 30-х годов нашего столетия? Это тем более законно, что сам Сталин сделал все, чтобы предельно сблизить себя и свое дело с делом и личностью

Грозного. По закону апперцепции, нельзя уже, помыслив об одном из них, не вызвать в сознании образ другого. Вот почему высказывания Веселовского о Грозном дадут несомненно пищу и для нового понимания сталинской опричнины. Они логически приводят к заключению, что ни та, ни другая не вызваны политической необходимостью, но порождены — дикостью природы, властолюбием, манией величия, злодейством и тираническими наклонностями их творцов в соединении с трусостью и подозрительностью. Непомерной подозрительностью объясняет Веселовский новгородскую карательную экспедицию. Ложные доносы, нашептывания, обвинявшие новгородцев в "измене", не были ни разу проверены или подвергнуты сомнению. Историки опричнины, подобно наблюдателям ежовщины, не в состоянии объяснить беспричинности большинства казней. В обоих случаях лишались жизни и свободы люди, ни сном, ни духом не причастные к государственному преступлению. Чаще всего это относилось за счет "безумия" царя или того, что при Дзержинском называлось "массовым охватом", когда казнят не за вину, а за принадлежность к классу. Но Веселовский, занимаясь генеалогическими изысканиями, нашел причину необъяснимых опал в родственных связях и знакомствах с прежде казненными людьми. Не то ли видели мы в 1934-39 годах? Гражданам СССР, вероятно, и сейчас памятна ложь, когда устами самого тирана сказано было: "сын за отца не отвечает"; и когда не только сыновья шли на расстрел за отцов, но сослуживцы, соседи по квартире, случайные знакомые, выпившие вместе с потерпевшим рюмку водки.

Страхом и подозрительностью объясняется необычайное распространение "поручных записей". Они существовали издавна как средство борьбы с отъездом бояр к другим владельческим государям. Но ко времени Грозного случаи отъезда почти прекратились по той причине, что не к кому стало отъезжать, и кроме того, подавляющее число московских служилых родов уже более двухсот лет служило наследственно от отца к сыну так, что самая память об отъездах заглохла в их среде. Между тем именно при Грозном, до и во время опричнины, наблюдается невиданное количество поручных записей. Возникновение их объясняется не отъездами, а чем-то другим. Веселовский объясняет их побегами за границу как следствием несправедливых казней. Казни начались задолго до

опричнины и сделались, по его мнению, одной из причин ее возникновения. Убежавший в Литву или Ливонию навлекал обычно опалу на своих родственников, а казнь этих последних вызывала новые побег и так завязывался клубок сложной взаимозависимости.

Первоначально царь брал поручные записи на людей, либо пытавшихся бежать, либо подозреваемых в попытке к бегству, но чем дальше тем больше поручными охватывался весь круг людей подозреваемых. Несколько человек, прежде всего родственников, давали запись в том, что они ручаются либо своим имуществом и значительной суммой денег, либо "головой", что данное лицо не нарушит верности царю и не совершит поступка, граничащего с изменой. Грозный так широко практиковал подобные записи, что только в десяти таких документах насчитывается до 950 вовлеченных в поручительство лиц, из которых 117 человек ручались дважды, 16 трижды, 7 четырежды, а 1 — пять раз. Эта чрезмерная практика привела к последствиям, вряд ли предвиденным Грозным. Она сплотила ту среду, с которой царь вступил в конфликт. Чем больше он находил в ней изменников, тем сильнее было ответное сопротивление и к тем более крайним мерам это побуждало царя. Вот почему поручные записи Веселовский считает одной из причин возникновения опричнины.

Но неужели это случайность, что прежние, не менее талантливые, чем он, исследователи не обратили внимания на столь интересную группу документов и не привлекли их к изучению опричнины? Ведь поручные записи известны давно. Очень часто мертвый архивный материал оживает под действием событий; тогда он дает важные улики, подобно тому, как кровь, выступающая из ран убитого, уличает подошедшего к нему убийцу. Великий убийца XX века, обязавший круговой порукой, сиречь "бдительностью", партию, комсомол, профсоюзы, советские ведомства, заставил серенькие, невзрачные документы дать показания большой важности. Вряд ли подлежит сомнению, что роль "поручных записей" открылась историку при виде тысяч начальников учреждений, арестованных только за то, что среди их подчиненных обнаружались "враги народа".

Не мифическое "крамольное боярство" составило заговор против Грозного, а сам Грозный с ловкостью опытного конспиратора организовал заговор против подданных. Раньше мысль о планомерно подготовлявшемся перевороте не приходила в голову историкам. Знаменитый отъезд в Александровскую слободу объяснялся либо душевным смятением царя, граничившим с безумием, либо "инсценировкой", как выразился С. М. Соловьев. Одно из самых оригинальных мест книги С. Б. Веселовского, посвященное анализу событий конца 1564 и начала 1565 годов, рисует нам картину тщательно обдуманного и умело проведенного государственного переворота. Тут и ловкая маскировка удаления из Москвы под видом поездки на богомолье, тут и увоз с собой казны, драгоценностей, вплоть до золотой и серебряной посуды и гардероба, тут и приказание взять с собой жен и детей всем избранным сопровождать его людям. Приказано было также выступить с ним вместе, в полном боевом снаряжении, дворянам и детям боярским "выбором из всех городов". Уводя с собой чуть не половину воинской силы, он ослаблял Москву на случай ее возможного сопротивления. Сильный маневр придуман был для деморализации столицы: царь, в нарушение древнего обычая, не назначил никого, кто бы "ведал Москву" в его отсутствие. Государство осталось без власти, вследствие чего остановилась работа всего правительственного аппарата. А царь прислал из Александровской слободы грамоту для публичного прочтения, выписывая в ней "неправды" стоявших у власти людей и вместе с тем заверяя, чтобы торговые, посадские и простой народ "никоторого сумнения не держали, гневу на них и опалы никоторые нет". В этом заключалась недвусмысленная угроза поднять простой люд против знати, в случае, если та не капитулирует перед царем. При таких обстоятельствах не нашлось охотников брать на себя ответственность по управлению покинутой царем столицей, особенно, когда стало известно, что новая резиденция Ивана превращена в военный лагерь и там стоит корпус служилых людей, готовых в любой момент двинуться на Москву.

План, по мнению Веселовского, так тщательно был разработан, что имел несколько вариантов на случай того или

инного поворота событий. Правительственным чинам, застигнутым врасплох и увидевшим себя в сетях, ничего не оставалось, как принять царский ультиматум, изложенный в грамоте к митрополиту.

Покидая Москву, царь оставил там подобие "агитпропа", возложив на него обязанность разъяснять населению смысл царского отъезда. С этой же целью из Александровской слободы был послан К. Д. Поливанов, привезший грамоту "всему христианству града Москвы". Его приезд сопровождался тоже большой агитационной деятельностью. Главной темой агитации было: — один только царь стоит на страже государственных и народных интересов и печется обо всем, как надлежит, остальное правительство от первого боярина до последнего дьяка занимается тем, что расхищает казну, грабит народ и совсем не думает о защите страны от внешних врагов. Внушалась мысль о всеобщей преступности правящего слоя и неспособности его управлять государством. Одному царю по плечу такая задача, если не будут мешать изменники.

Это тоже неслучайно, что ни одному из прежних историков не приходила в голову мысль об огромной роли пропаганды и обработки общественного мнения в эпоху опричнины. По словам Веселовского, Грозному удалось даже историков заставить смотреть на некоторые вещи в желательном для него смысле. Такова легенда о боярском кружке, возглавлявшемся Сильвестром и Адашевым и связавшем, будто бы, царя своей опекой по рукам и ногам. Никакими лидерами боярской клики, по мнению Веселовского, они не могли быть по той причине, что оба были чужими людьми в среде коренного боярства, "выскочками", по каковой причине, боярство пальцем не пошевелило для их защиты в момент падения. Необычайно преувеличено личное влияние их на Грозного. Повидимому, оно объяснялось просто опытом и государственными способностями, особенно такого человека как Адашев. Исходившие от них предложения и мероприятия принимались царем потому, что их нельзя было не принять, по причине разумности и обоснованности. Весьма возможно, что таланты Адашева были единственным преступлением его перед Грозным. Как всякий человек низкой души, Иван не терпел возле себя одаренных людей. Во всяком случае, никакого "плена", в котором будто бы держали молодого царя, приметить

невозможно. По мнению Веселовского, Иван попросту оклеветал Сильвестра и Адашева и создал миф об их опеке над ним для оправдания их опалы и для гонений на всех, кому приписывалась такая же вина.

Сказанное вполне гармонирует со статьей С. В. Бахрушина об Избранной Раде. Она представляет это учреждение, направлявшее до середины 50-х годов весь ход московской политики, не "кликлой", а первым, может быть, организованным правительством на Руси, чем-то вроде кабинета министров. Не опричина, а она, Рада, была выражением роста государственного аппарата, и более или менее гармонического течения дел. Если она и держала царя в плену, то только в интеллектуальном смысле. Он попросту не способен был умственно подняться до своего правительства, он не управлял, а лишь "правил" в те дни. Не по этой ли причине он разогнал его, и не с этого ли разгона начался "кромешный" разгул?

* * *

Читатель, не успевший познакомиться с книгой С. Б. Веселовского, вправе задать вопрос, с кем же все-таки боролся Грозный и против кого направлена была опричина? Если это не "феодалное боярство", как думали раньше, если это не закрепощаемое крестьянство, как утверждают по сей день хранители марксистско-ленинской ортодоксии, то кто же?

Труд Веселовского не имел бы той большой ценности, которую мы в нем усматриваем, если бы не отвечал на этот вопрос. Самыми значительными, самыми оригинальными страницами "Исследований по истории опричины" являются те, что посвящены "государеву двору". Они выводят наконец исследовательскую мысль из марксистского тупика "классовых противоречий" и ленинского учения о государстве как об инструменте насилия в руках господствующего класса. Открытие Веселовского заключается в отрицании какой бы то ни было классовой подоплеки опричины. Ярость царя направлялась не против "феодалов"-вотчинников и не против какого-либо неугодного вида землевладения, а против государственного аппарата, созданного его предками, особенно, его дедом и отцом. Аппарат этот воплощен был в учреждении, на природу

и историческую роль которого историки не обращали должного внимания. Между тем "государев двор" и был истинным выражением русского самодержавия. Здесь было сосредоточено все верховное управление страной — советники царя, "думцы", начальники приказов, дьяки, наместники, волостели, гонцы, чины всевозможных служб. Отсюда же комплектовался весь командный состав армии Московского Государства от главнокомандующих и воевод полков, до сотенных голов. Сюда же относилась группа "жильцов", в количестве приблизительно 1.800 человек, несшая службу по охране царской резиденции, употреблявшаяся для мелких поручений и в то же время составлявшая гвардию, "государев полк", который в случае войны выступал с царем в поход и представлял внушительную силу, потому что каждый жилец обязан был выставить от трех до пяти вооруженных слуг.

Первоначально это учреждение представляло нечто простое, похожее на помещичью дворню. Только по мере роста Московского государства и увеличения функций, оно превратилось в сложное явление. Возникли приказы, канцелярии, архивы, увеличились штаты, возросла роль бюрократии, появились признаки того, что принято называть государственной машиной. Служившие здесь бояре, независимо от того, вышли они из прежней удельной знати или из простых дворян, — сильны и горды были не происхождением, а исключительно местом, занимаемым в придворной иерархии и близостью к царской особе. А так как большинство поколением служило, чуть не в продолжение 200 лет, то ни о каких "классовых" удельно-вотчинных интересах среди них говорить не приходится.

Против этого своего правительственного аппарата ополчился Иван IV, объявив его изменническим, ненадежным и опасным для себя. Под подозрение взяты были не одни бояре и дворяне, то есть чиновные верхи, но весь двор в целом. Казалось бы, он должен быть уничтожен. Но уничтожить учреждение, создавшееся исторически, не так-то просто; с ним вместе могло быть развалено и государство. Оставался выход: сохранить прежний двор и оставить за ним управление страной, а самому уйти из него, создать другой двор, с помощью которого контролировать и направлять работу первого. Для содержания же нового "опричного" двора, отписать ряд земель и уездов в личное пользование царя. Таким образом, в

государстве, изжившем удельную систему, образовался как бы новый удел. По своей организации и внутренней структуре он был копией старого государева двора. Большая часть его людского состава взята была тоже из старого двора. Учинив строгую проверку, установив "кто к кому прихож", царь отобрал из прежних слуг тех, которые не внушали особого подозрения.

На какой же почве сложилось столь недоверчивое и враждебное отношение к старому двору? Это, по-видимому, самый сложный вопрос во всей теме. Веселовский называет отмеченную еще прежними историками причину – расхождение царя с приближенными по поводу Ливонской войны. С этого началось. Но само по себе такое разногласие не вызывало необходимости столь радикальных мер, оно могло быть улажено другим путем. Опричнины могло не быть вовсе, не вступи царь слишком быстро и опрометчиво на путь казней во время опалы Сильвестра и Адашева. В этом сказалась его необузданность и дикость. Требуя огромного количества поручных записей, он сделал так, что казнь одного из слуг его двора заставляла трепетать за свою жизнь десятки других. Испугавшись такого результата собственной практики, царь, при своей мнительности и подозрительности, уже не мог не видеть смертельного врага в целом правительственном учреждении. Побег за границу и "измены", вроде Курбского, казалось, подтверждали подозрения. К этому присоединилась вакханалия доносов людей, увидевших, как охотно царь преклонял ухо ко всякого рода нашептываниям. Одни это делали ради карьеры, другие – спасая свою шкуру.

И наконец, не малую роль сыграли родственные связи Ивана с именитой частью двора, где никогда не затихали местнические распри и борьба за влиятельные должности. Грозный оказался незаметно для себя втянутым в эти интриги, проникшись их мелочными страстями. Веселовский склонен значительную долю вины за создание опричнины приписать Захарьиным-Юрьевым – родственникам Анастасии Романовны, первой жены Ивана. Так из сцепления мелких случайных фактов, отнюдь не "программного" характера, из личных свойств царя, сложилось и возникло крупное историческое явление.

Когда умер Сталин и началось ниспровержение "культ личности", было ясно с самого начала, что дело не обойдется без пересмотра отношения и к любимому герою почившего вождя. Слишком явно отождествлял он себя с Иваном Грозным, чтобы не возникло соблазна атаковать его с позиций истории. В самом деле, не успела стать широко известной знаменитая антисталинская речь, произнесенная на XX съезде, как уже в мае того же 1956 года состоялась дискуссия в Академии Наук, посвященная Грозному и его террору. Доклад было поручено сделать одной из жертв сталинской опричнины, профессору С. М. Дубровскому, побывавшему в свое время в лагерях и лишь каким-то чудом уцелевшему. Но подобно тому, как хрущевская речь долгое время держалась в секрете, так и сведения о дискуссии напечатаны были чуть не полгода спустя, в сентябрьском выпуске журнала "Вопросы истории". Осторожность доходила до того, что прежде, чем сообщить эти сведения, опубликовали, в августовском выпуске того же журнала, речь С. М. Дубровского, но не как доклад, а как простую статью, под заглавием "Против идеализации деятельности Ивана IV". Принимались очевидно меры к тому, чтобы в случае политических осложнений, объявить высказывания Дубровского его личным делом.

Но если на дискуссию 14-15 мая 1956 года возлагались какие-то надежды, то вряд ли она их оправдала, по причине своего крайне низкого уровня. Она носила давно известный характер политических дебатов на историческую тему, установившийся еще во дни Общества Историков Марксистов. С. М. Дубровский, будучи специалистом по истории России конца XIX и начала XX века (недавно он выпустил книгу о столыпинской реформе), никогда не занимался историей XVI века, не работал над источниками, по каковой причине, точка зрения его на разбираемый сюжет определялась, главным образом, соображениями "методологического" порядка. Рассуждения всех выступавших в прениях отправлялись тоже от готовых схем и "концепций". Обсуждение свелось, в сущности, к борьбе двух давнишних взглядов на опричнину — старого платоновского, усматривавшего в ней форму наступления абсолютизма на княжат, бояр и всяческие пережитки

удельной системы. Опричнина, в этом случае, относилась к "прогрессивным" явлениям, служившим делу укрепления централизованного государства. И другого – выработавшегося при Покровском, объявлявшего опричнину "диктатурой помещиков-крепостников", чинивших жесточайшее насилие над крестьянством, подготовлявших введение крепостного права.

Мало того, что обсуждение носило схоластический характер, оно не достигало и поставленной ему цели – развенчания Грозного. В том и в другом случае, его фигура казалась по-прежнему величественной, а дело – вовсе не лишенным смысла, независимо от того, реакционно оно или прогрессивно. Между тем, одиозность сталинского террора и террора Грозного заключается в отсутствии государственно-политической необходимости.

Вероятно, по этой причине дискуссия не получила продолжения. Зато в 1957 году образовалась комиссия, во главе с академиком М. Н. Тихомировым, по изданию трудов С. Б. Веселовского. Покойный ученый оставил, надо думать, не малое рукописное наследство, поступившее после его кончины в архив Академии Наук, но оно добрых пять лет лежало там, не привлекая к себе внимания. С. В. Бахрушин, Е. В. Тарле, И. И. Полось и другие удостоились издания своих трудов гораздо ранее.

Академия побаивалась издавать Веселовского, по причине наклеенного на него "буржуазного" ярлыка, и если все-таки решилась, то надо думать потому, что до каких-то важных лиц дошло сведение о рукописи "Исследований по истории опричнины". Ведь до сих пор никакой другой работы Веселовского, кроме этой, не опубликовано. Значит, смысл образования тихомировской комиссии заключался в издании именно этого труда. Почему же понадобилось шесть лет, чтоб его выпустить?

Техническими причинами такую медлительность не объяснишь.

Хотя в эти годы свергались статуи Сталина, выносился из мавзолея его труп, переименовывался Сталинград в Волгоград, но почва под ногами антисталинистов постоянно дрожала. Бунтовали албанцы, китайцы, в самой Москве слышался гул загнанной в преисподнюю оппозиции. Не так давно

пришлось бить отбой и снова называть Сталина "великим", чуть не "родным". Все это задерживало, надо думать, выход книги. По логике событий, когда десталинизация так сильно пошла на убыль, книге Веселовского совсем бы не увидеть света, но правильнее предположить, что именно сейчас, когда нельзя бранить Сталина открыто, мог прельстить кого-то маневр: выпустить острую антисталинскую книгу в форме сугубо академического сочинения, без единого упоминания имени покойного диктатора.

Так или иначе выход "Исследований по истории опричнины" — несомненное свидетельство продолжения борьбы с "культом личности" Сталина в СССР.

* * *

Но прежде всего — это замечательное научное исследование, по новому освещающее события, привлекающее неиспользованные доселе источники и высказывающее оригинальный взгляд на природу и сущность столь мало изученного события. Конечно, оно вызовет споры и возражения, многие не захотят расстаться с привычными штампами. Но само несогласие послужит стимулом к новым исследованиям. Отвергнуть высказанную Веселовским точку зрения можно лишь после такой же обстоятельной и скрупулезной работы над материалом, какую проделал он сам.

К сожалению, книга не закончена и необработана. Вероятно, по этой причине, руководящая мысль не доведена в ней до конца. Подорвав наше прежнее представление об опричнине как о столкновении между самодержавием и старой вотчинной системой, преподнося ее как конфликт царя со своим двором, автор ограничил этим свое ученое любопытство и не поставил даже вопроса о возможной закономерности и исторической обусловленности такого конфликта. Правда, он указывает на конкретные причины его возникновения, но не рассматривает его в свете целого исторического процесса. Между тем нас не перестанут занимать вопросы: поддается ли осмыслению факт столкновения царя с им же самим и его предками созданной государственной машиной? единичен ли факт такого столкновения или он когда-нибудь повторялся?

Отвечать на эти вопросы предоставляется нам самим.

Если иметь в виду кровь и жестокости, то опричнина остается уникальным явлением в дореволюционной истории России, но если исходить из ее сущности, открытой С. Б. Веселовским, то она предстанет как часто наблюдаемый факт. Еще у отца Ивана Грозного, Василия III, наблюдалось острое столкновение со своим двором, так что пришлось вырвать языки Берсеню Беклемишеву и Федору Жареному за их протестующие речи по поводу решения великим князем всех государственных дел "сам третий у постели", то есть в тесном кружке двух избранных лиц. Государев двор всегда ревниво относился к такому устранению его от управления. Но со стороны государей, на всем протяжении русской истории, наблюдается упорное стремление выйти из-под опеки двора. На первый взгляд это непонятно; государев двор, призванный самими государями делать государево дело, делал его честно; можно смело сказать, что за исключением одного разве случая (Петр Великий), монархические и династические интересы понимались и ограждались правительственным аппаратом лучше, чем самими царями. Тем не менее, Грозный устраивает Опричный двор, Алексей Михайлович — "Приказ Тайных Дел", Петр Великий — "Кабинет", Павел — "Учреждение об императорской фамилии", Николай I — "Собственную его императорского величества канцелярию".

Все эти учреждения означают одно: — стремление обзавестись в недрах общей государственной машины чем-то вроде личного секретариата, через который осуществлялась бы воля государя. В стране неограниченного самодержавия это может показаться парадоксом. Зачем это нужно, если каждое слово государя и без того священно и подлежит неукоснительному исполнению? Однако, всем любителям легковесных высказываний на русские исторические темы надлежало бы знать, что самодержавие, не ограниченное парламентом или иной формой народного представительства, было основательно ограничено своим собственным государственным аппаратом. Нельзя это представлять себе вульгарно, как некую оппозицию или "диктатуру" какого-нибудь класса. Ограничение выражалось уже в том, что цари не могли обходиться без помощи этого веками выработанного механизма. Не имея возможности управлять огромной империей по-помещичьи,

как именем, цари волей-неволей попадали во власть "двора"; он превращался с течением времени в силу, воплощавшую весь исторический опыт страны. Как всякий механизм, он верно служил своему творцу, но во многом и подчинял его себе — стеснял прихоти, замашки, "вольные полеты духа", требовал внимания к своим механическим законам. Управлять им, как колесницей Фэба, мог только мощный возница; всех других ждала участь Фазтона. Большинство и не дерзало брать вожжи, смиренно сидело в колеснице, предоставляя ей катиться своим путем. Это была та опека, которой тяготились неуравновешенные, а то и просто неумные натуры. Учение о царской власти вызывало у них идею единодержавия, подбивая на освобождение от "собацкого собрания", как называл Иван Грозный свое правительство времен А. Адашева. То был бунт самодержцев против оплота самодержавия или, выражаясь гегелевским языком, — диалектическое противоречие, заложенное в природе абсолютизма. Единственно успешным из этих бунтов был бунт Петра — первый, кажется, случай, когда царь оказался во всех отношениях выше и "прогрессивнее" своего аппарата власти. Да и бунт был поднят не ради освобождения от него, а для его усовершенствования. Все остальные кончались полной неудачей. Новое учреждение либо уничтожалось через некоторое время, как опричнина, либо превращалось в свою противоположность, то есть ограничивало на старый манер самодержавную волю царя. К 1569 году, к концу ее существования, в опричнине появился "царский домовый обиход". Хоть источники не дают нам полной ясности, что это такое, но есть основание предполагать в нем зародыш опричнины в опричнине. Похоже, что царь бежал от старого двора и создал новый для того, чтобы убедиться, что и этот новый стесняет его не меньше прежнего. Быть может, открытие это решило участь опричнины и восстановило старый "государев двор" в прежнем значении.

* * *

Есть еще один аспект занимающей нас темы, оставленный без внимания С. Б. Веселовским. Он тоже не перестанет мучить исследовательскую мысль. Ведь ни "Приказ Тайных

Дел”, ни ”Собственная его величества канцелярия” не вызывают такого любопытства, как опричина. Причина: ее кровавый террористический характер. Он объясним был при господстве прежних точек зрения, когда опричина представлялась жестокой схваткой старого с новым, государственной централизации со средневековой феодальной раздробленностью, но он совершенно необъясним с тех пор, как Веселовский показал его бессмысленность и ненужность. Отныне он кажется выражением личных, порочных склонностей Ивана. Возражать против этого не приходится. И все же, мы никак не можем совладать со страстью к поискам ”закономерности”. Вспоминается сорокалетней давности рецензия А. Е. Преснякова на книгу Виппера ”Иван Грозный”, где рецензент коснулся этого вопроса и разрешил его стереотипной фразой: ”время создает своих людей”. Ссылаясь на иллюстрации, приведенные самим же Виппером, он указывал, что царями-злодеями наполнена вся эпоха европейского Ренессанса и весь XVI век. Цезарь Борджиа, Людовик XI, Ричард III, Генрих VIII, Мария Кровавая, Христиан II, Филипп II, Эрик XIV. Грозному вряд ли принадлежит первое место в этой компании. По крайней мере, Карл IX, побивший рекорд массовой резни своей Варфоломеевской ночью, дал повод Грозному встать в позу ужаснувшегося. ”Ты брат наш дражайший, — писал он императору Максимилиану II, скорбишь о кровопролитии что у французского короля в его королевстве несколько тысяч перебито вместе с грудными младенцами: христианским государям пригоже скорбеть, что такое бесчеловечие французский король над стольким народом учинил и столько крови без ума пролил”. Грозный, видимо, полагал, что его собственное истребление новгородцев — сущий пустяк в сравнении с парижскими избиениями.

Повидимому, время действительно создает своих людей, но сказать это — еще не значит приоткрыть тайну их создания. Пресняков и Виппер, вовсе не склонные к мистическим и религиозным объяснениям, не указали нам пути к отысканию ”закономерности”. Нам сейчас, после всех зрелищ, виденных на пиру богов, эта проблема предстает в виде какой-то ланкастерской школы взаимного обучения. Полиции и разведки всего мира старательно учатся друг у друга; тоже генеральные штабы и кабинеты министров, революционные партии и

стоящие у власти "вожди". Целые режимы возникают на основе опыта какой-нибудь одной державы. Давно высказано мнение, что не будь Ленина и основанного им коммунистического государства, не было бы ни Муссолини, ни Гитлера, никаких других диктаторов. Известно восхищение Гитлера Сталиным. Надо думать, и Сталин немало учился у своего обожателя. По крайней мере, расправа с рэмовцами, несомненно, привела его в восторг. Сейчас кажется непонятным, как это он мог выпустить Троцкого за границу. Человечностью, джентльменством, "партийной совестью" этого объяснить невозможно. Он бы его с удовольствием расстрелял. Но не существовало еще самой мысли о возможности расстрела вчерашнего вождя партии. Не было также идеи массового истребления членов партии. Только беспощадность операции Гитлера по ликвидации Рэма открыла глаза Сталину и положила начало новой эры в его внутрипартийной политике. Конечно, в эпоху газет, авиации, радио и международных конференций подобный обмен опытом происходит быстрее, легче и заметнее, но он существовал и в давние времена. Можно сказать, что история всегда была если не всемирной, то всеевропейской. Чем объяснить, что не только 1848 год был годом революционным для всей Европы, но и в 1648 году наблюдаем бунты и гражданские войны на всем протяжении от Лондона до Москвы? Одинаковыми социально-экономическими условиями трудно это объяснить. Гораздо проще "взаимным обучением". Когда где-нибудь отрубали голову королю, то в других странах начинали точить топоры. Даже царь Алексей Михайлович, которому не надо было бояться ни парламента, ни Кромвеля, почувствовал себя неудобно и изгнал англичан из своего государства за то, что те "короля своего Карлуса до смерти убили".

Международное хождение имели не одни политические страсти, но также идеи экономических и социальных реформ. Пятнадцатый, шестнадцатый века — эпоха становления крепостного права. В русской публицистике она всегда именовалась "средневековой" и "азиатской". На самом деле, это явление не азиатское, а европейское; в средние века его не существовало, оно — порождение новой истории. Его повсеместное утверждение есть в значительной мере результат заимствований. И в Россию оно пришло с Запада. Проф. Г. В. Вернадский представил международному конгрессу историков в

Риме (1955 год) доклад, согласно которому определяющим моментом формирования крепостной системы в России было знакомство русского правящего сословия с устройством крестьян в крепостной Ливонии. Начавшаяся в 1558 году Ливонская война сыграла в этом смысле большую роль.

Но если заимствовалась большая реформа, то почему не могла быть заимствована "жестокость"? Монарх XVIII века, какими бы природными склонностями к пролитию крови ни обладал, не дерзнул бы их обнаружить в семье тогдашних "просвещенных" королей. Но в XV-XVI веке жестокость считалась добродетелью царей. Ее проповедывал Макиавелли, она пользовалась успехом в практике царственных особ. Грозный великолепно был осведомлен о своих кровавых современниках. Ко дворам некоторых из них ездили его послы и доносили обо всем. Читая, например, статейный список И. М. Воронцова, где рассказывалось, как Эрик XIV на приемах во дворце выхватывал у стражников алебарды и собственноручно убивал вельмож, Грозный безусловно укреплялся в своих террористических убеждениях. Все монархи, чего-нибудь стоившие в его глазах, были беспощадны, а те, которые наподобие польского короля были низведены своей шляхтой до самого жалкого положения, убеждали от противного в необходимости резать оную шляхту без сожаления. Нет у нас также оснований отрицать, будто Грозный не знаком был с учением Макиавелли, хотя бы из вторых рук. Появился же в дни его молодости в России доморощенный Макиавелли в лице Ивана Пересветова, убеждавшего царя сдирать шкуру с бояр и всеми способами истреблять это отродье.

Иван безусловно учился у своих западных собратьев. Но, как это нередко случалось с некультурной, отсталой Россией, его заимствования были заимствованиями варвара, воспринималась форма без смысла. Жестокость Борджиа, Людовика XI, Христиана II, создававших сильную королевскую власть и централизацию, имела рациональное основание. Их можно называть какими угодно злодеями, но обоснованность их злодейств неоспорима. Злодейству Грозного, как раз, момента целесообразности и не хватает. Из всего европейского опыта усвоена была одна беспощадность без государственной задачи, которой бы она служила. Опричнина могла бы быть совсем бескровной. Если же она ужаснула мир своей бесчеловечностью,

то в этом надлежит видеть дань отсталости. Опричнина одна из роковых нелепостей русской истории.

ИЗ ДАВНИХ СПОРОВ

Читавшие "Войну и Мир" хорошо помнят описание спектакля, на который попала только что приехавшая из деревни в Москву Наташа Ростова.

"На сцене были ровные доски посередине, с боков стояли крашенные картоны, изображавшие деревья, позади было протянуто полотно на досках. В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом платье сидела особо на низкой скамеечке, к которой был прикреплен сзади зеленый картон. Все они пели что-то. Когда они кончили свою песню, девица в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел мужчина в шелковых в обтяжку панталонах на толстых ногах, с пером и кинжалом и стал петь и разводить руками. Мужчина в обтянутых панталонах пропел один, потом пропела она. Потом оба замолкли, заиграла музыка, и мужчина стал перебирать пальцами руку девицы в белом платье, очевидно выжидая опять такта, чтобы начать свою партию опять вместе с нею. Они пропели вдвоем, и все в театре стали хлопать и кричать, а мужчина и женщина на сцене, которые изображали влюбленных, стали, улыбаясь и разводя руками, кланяться".

Во втором акте упомянуты картины, изображающие монументы, дыра в полотне, изображавшая луну, множество людей в черных мантиях, размахивавших кинжалами. Потом "прибежали еще какие-то люди и стали тащить прочь ту девицу, которая была прежде в белом, а теперь в голубом платье. Они не утащили ее сразу, а долго с ней пели, а потом уже утащили и за кулисами ударили три раза во что-то металлическое, и все стали на колени и запели молитву".

В "Войне и Мире" вряд ли можно встретить другой такой эпизод. Ни балы, ни битвы, ни природа не описываются в такой манере. Виктор Шкловский был едва ли не единственным исследователем, усмотревшим в ней явление особого

порядка. Лет сорок тому назад, в статье "Искусство как прием"* он облюбывал эту часть романа как совершенно исключительный образец "остранения". Писать о предметах так, чтобы они предстали в неожиданном, "странном" виде — в этом Шкловский и вся формальная школа усматривали основной принцип литературного творчества. Приведенные из "Войны и Мира" тексты послужили поводом для установления метода, которым Толстой, будто бы, добивался остранения — описывая вещь, как в первый раз виденную, не называя ее собственным именем, а называя отдельные ее части так, как называются соответственные части в других вещах.

Формальный метод, как известно, давно оставлен самими его творцами, и если ныне приходится вспоминать о статье Шкловского, то только в историческом плане, как об одном из неудачных опытов понимания природы и смысла произведения.

Трудно представить материал менее подходящий для иллюстрации приема остранения. Прежде всего, "Война и Мир" не единственное произведение Толстого, в котором театральное зрелище представлено таким образом. Еще в "Сказке о том, как другая девочка Варенька скоро выросла большая", написанной в 1857-1858 годах, сцена выглядит так: "Там сидели музыканты, все черные, с скрипками и с трубами, а повыше были нехорошие простые доски, как в доме в деревне пол, и на полу ходили люди в рубашках и красных колпаках и махали руками. А одна девочка без панталон, в коротенькой юбочке стояла на самом кончике носка, а другую ногу выше головы подняла кверху". Сказка эта, опубликованная впервые в 1928 году, не была известна Шкловскому в 1919 году. Но ему хорошо было известно сочинение Льва Николаевича "Что такое искусство?" с его знаменитыми описаниями репетиции оперы Рубинштейна и постановки вагнеровского "Зигфрида". Сделаны они в той же манере, только еще сильнее, чем театральный эпизод в "Войне и Мире". Шкловский мог бы и "Зигфрида" привести как образец остранения, но не привел. Остановила ли его мысль о недопустимости сопоставления текста романа с текстом небеллетристичес-

* "Поэтика". Сборник по теории поэтического языка. Петроград, 1919 г.

кого произведения, или пугал факт их сближения и подведения под одну категорию, что могло иметь роковые последствия для всего учения об острашении? — неизвестно. Во всяком случае, описание "Зигфрида", не связанное ни с каким художественным замыслом, преследующее ясную цель доказать нелепость и глупость оперного искусства, рождает законную мысль о таком же назначении всех прочих толстовских описаний театра.

* * *

Сам Толстой, впрочем, подсказывает иное объяснение. "Странность" манеры описания спектакля в "Воине и Мире" обусловлена восприятием Наташи. Она только что приехала из деревни и смотрит на все с простотой неискушенного сельского жителя, чуждого городской цивилизации. Так, например, воспринимали спектакль при дворе флорентийского герцога в 1658 году московские послы, чья культура и внутренний склад недалеко ушли от мужицкого: "Объявились палаты; и быв палата и вниз уйдет и того было шесть перемен. Да в тех же палатах объявилось море, колеблемо волнами, в море рыбы, а на рыбах люди ездят; а на верху палаты небо, а на облаках сидят люди. И почали облака и с людьми на низ опускаться; подхватя с земли человека под руку опять же вверх пошли. А те люди, которые сидели на рыбах, туда же поднялись вверх за теми на небо. Да опускался с неба же на облаке сед человек в карете, да против его в другой карете прекрасная девица, а аргамачки под каретами, как быть живы, ногами подрягивать... А в иной перемене объявилось человек с пятьдесят в латах и начали саблями и шпагами рубиться и из пищалей стрелять, а человека с три, как будто и убили. И многие предивные молодцы и девицы выходят из занавеса в золоте и танцуют и многие диковинки делали".

Толстой хочет уверить, что "после деревни и в том серьезном настроении, в котором находилась Наташа" — она никакими другими глазами, кроме таких же примитивных, простецких, не могла смотреть на представление.

В этом — не мало фальши. Что ни говори, а Наташа не мужичка; если она и приехала из деревни, то не из курной

избы, а из роскошной барской усадьбы. Кроме того, она уже танцевала на балах, знает блеск обеих столиц, да и в театре сидит не впервые. Продолжительное пребывание в деревне могло оставить на ней печать, но совсем не ту, о которой повествует Толстой. Героиня взята явно неподходящая для описываемых переживаний. Можно даже выразить недоумение, как это Толстой, столь чуткий к правде тончайших душевных движений, мог допустить очевидное несоответствие? Но подмена совершена сугубая. Будь в ложе на месте Наташи простой крестьянин, описания Толстого не выражали бы и его переживаний. Для него, как для московских послов, зрелище было бы малопонятно, но полно необычайного интереса как "диковина". У такого зрителя элемент насмешки и критики совершенно исключен. Спектакль мог его утомить, но у него не могло возникнуть протеста, как у Наташи, для которой будто бы "все это было так вычурно, фальшиво и ненатурально, что ей становилось то совестно за актеров, то смешно на них".

Спрашивается, почему условность театрального искусства, понятная всему зрительному залу, была непонятна одной этой девочке, более других склонной к его пониманию и по возрасту, и по деревенской простоте, приписанной ей автором?

Совершенно очевидно, что приписана не одна простота. Колдовской, завораживающей силой своего мастерства Толстой сумел незаметно для читателя "подкинуть" Наташе чуждый ей комплекс переживаний и заставить нас поверить в натуральность ее презрения к актерам за их фальшь и ненатуральность. Не наташино это презрение и не ее первую заставляет Толстой презирать театр. В сказке о девочке Вареньке театр тоже не нравится детям, и не нравится по той же причине, что и Наташе — ненатурально, ненастоящее. "Неужели это настоящие девочки?" — спрашивают они, глядя на сцену. И когда их уверяют в этом, они обижаются: "которые с нами рядом сидят, я вижу, что настоящие, а те — я не знаю". И аплодисменты кажутся детям такими же смешными и нелепыми, как Наташе. Ясно, что не герои, а сам Толстой смеется, презирает, ненавидит то искусство, о котором редкий из больших людей не вспоминал с благодарностью и любовью. "Театр, — о, это истинный храм искусства, при входе в который вы мгновенно отделяетесь от земли, освобождаетесь от житейских отношений! — восклицал Белинский... — Ступайте,

ступайте в театр, живите и умрите в нем, если можете!” Толстой же твердит только об отвращении к сцене. Недавно Л. Сабанеев рассказал, как Лев Николаевич с возмущением вышел из ложи Большого театра во время представления ”Зигфрида” — той оперы, на которую он написал такой ”уничтожающий” пасквиль в трактате ”Что такое искусство?”. Трактат и объясняет нам в полной мере его неприязнь к театру. Всю жизнь он его гнал, бичевал, развенчивал, и кто бы из его героев ни сидел в театре, он должен был всегда выражать одни и те же толстовские, а не свои собственные чувства.

* * *

Посещение московской оперы — роковое событие в жизни Наташи Ростовской. Там случилась встреча с Анатолем, и там завязалась интрига, приведшая ее в дом Элен для новой, более греховной встречи. Произошла она тоже в театральной обстановке: публика собралась, чтобы послушать M^{lle} Georges — знаменитую актрису того времени. Почему Толстой избрал местом ”грехопадения” совей героини не бал, не увеселительную поездку, а именно театр? Казалось бы, бальный зал с его танцами и мазурочной болтовней — более благодарное место для оболъщения неопытной девушки. Но толстовские балы блещут чистотой и порядочностью. Только театр распространяет флюиды моральной порчи и создает атмосферу порока. В нем все порочно — сцена, кулисы, зрительный зал. Ложь сцены в том, что там вместо настоящих деревьев — раскрашенный картон, что карлик Миме там бьет молотом, ”каких никогда не бывает, по мечу, которых совсем не может быть”, и бьет так, ”как никогда не бьют молотками”. Толстой не прощает театру алебард из серебряной бумаги, накладных бород, париков, фальшивых страстей, не настоящих переживаний, всего невсамделишного. В этом он видит величайшую безнравственность. Актеры безнравственны уже потому, что избрали своей профессией бесполезное, ненужное дело, как тот ”мужчина с голыми ногами” — Dupont, танец которого смотрела Наташа, и который получал 60 тысяч в год за то, что ”прыгал очень высоко и семенял ногами”. Безнравственны они и потому, что, продавшись театру и привыкнув к

сладкой роскошной жизни, не в силах бывают порвать с ним. Любой режиссер, капельмейстер, чиновник, могут обращаться с ними, как с крепостными, — они все перенесут, только бы не лишиться "сладкой жизни". Ни знаменитостей, ни талантов среди них Толстой не признает. Все вызывают одинаковое отвращение. Вспомните M-lle Georges, выступавшую на вечере у Элен, когда она "с оголенными с ямочками, толстыми руками, в красной шали, надетой на одно плечо, вышла в оставленное для нее пустое пространство между кресел и остановилась в ненатуральной позе", как она "строго и мрачно оглянула публику и начала говорить по-французски какие-то стихи, где речь шла о ее преступной любви к своему сыну", как она ломалась, хрипела и выкатывала глаза. Так же ломалась и ненатуральным голосом говорила монолог "худая, костлявая актриса", которую смотрел, сидя в ложе Mariette князь Нехлюдов в романе "Воскресение". Но Толстому не менее противна и публика, принимающая неправду сцены, приветствующая ее аплодисментами, криками восхищения — "adorable, divin, délicieux!" Восторги ее притворны, неискренни, и такая ложь едва ли не отвратительнее лжи актерской. Нарядные дамы, сановники, гвардейские офицеры, вся праздная барская Москва, собранная в великолепном зале, составляет одно безнравственное целое со сценой и с актерами. Ни на вечере в доме Ростовых, ни в аглицком клубе, ни на офицерской попойке та же публика не вызывает осуждения, но в театре она — соучастница греха и порока. Неправы те, кто думает, будто Толстой отвергал только некоторые виды театра вроде балета, оперы, либо архаические направления — ложноклассицизм, романтизм. В Советском Союзе и сейчас полагают, что на реалистический театр его неприязнь не распространяется.

Сам Толстой дает ясные доказательства отрицательного отношения ко всякому театру, и как к искусству, и как к социальному учреждению. Для него он — пагубный цветок цивилизации, растлевающий человечество и уводящий его с пути совершенствования. Он обладает способностью, едва ли не в большей степени, чем музыка, живопись и словесность уводить человека от жизни, от природы и естественного состояния. Отклонение от естественности — величайший грех в глазах Толстого — начало всякой порчи, заблуждений и гибели человека. Вот почему посещение театра для него

равнозначно хождению на совет нечестивых и пребыванию в собрании развратных.

* * *

Здесь, конечно, и надо искать корень той его манеры описания, которую Шкловский называет "остранением". Существует в литературе немало изображений сценического действия с достаточной долей "странности" ("Дон Жуан" Гофмана, известный эпизод у Марселя Пруста), но ни один из них не мог бы быть назван кривым зеркалом. Толстой же в "Воине и Мире" попросту пишет Вампуку. Его можно заподозрить в пародировании двадцатой строфы "Евгения Онегина".

Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена
Стоит Истомина; она
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит.
Летит, как пух от уст Эола.
То стан совет, то разовьет
И быстро ножкой ножку бьет.

У Толстого: "С боков вышли мужчины с голыми ногами и женщины с голыми ногами и стали танцевать все вместе. Потом скрипки заиграли очень тонко и весело, одна из девиц с голыми толстыми ногами и худыми руками, отделившись от других, отошла за кулисы, поправила корсаж, вышла на середину и стала прыгать и скоро бить одной ногой о другую. Все в партере захлопали руками и закричали браво".

Худые руки, толстые ноги, толстые с ямочками руки, худая костлявая актриса, нехорошие простые доски на сцене — все это обыкновенное охаивание. Толстой уродует актрис так же, как Эдгар Дега своих балерин. Не остранением бы это назвать, а развенчиванием.

Шкловский, увлеченный поэтикой Потебни, ошибался, полагая, что вещи у Толстого описываются, как в первый

раз увиденные, и что достигается это употреблением не тех их названий, которые приняты. Неверность такого утверждения яснее всего видна в знаменитом описании богослужения в романе "Воскресение". Там, действительно, иконостас называется "перегородкой", ризы священника не ризами, а "странной и очень неудобной парчевой одеждой", престол в алтаре – просто "столом", дискос – "блюдцем", а чаша с дарами – "чашкой".

Шкловский не воспользовался эпизодом из "Воскресения" по причине его одиозности, но он дал ясно понять, что и в этом отрывке видит прием остранения. Между тем, здесь наносится несомненный удар формалистическому учению о приеме, как чисто словесному явлению, ничем не обусловленному. У Толстого он очень даже обусловлен и строго подчинен его проповедническим и дидактическим задачам. Смысл именованья чаши чашкой, а престола столом – не в том, чтобы мы увидели их по-новому, а в том, чтобы перестали считать священными. Тело и кровь Христово – не тело и кровь, а кусочки хлеба в вине. Здесь не новый показ вещи, а раскрытие ее псевдонима, либо перевод названия с высокого штиля на низкий. Примерно это то же, что случалось в старину с опальным боярином, когда он из какого-нибудь князя Василья Васильевича Голицына превращался в "Ваську Голицына".

До какой степени игра названий подчинена у Толстого его "учению", видно на примере тех же святых даров. Пока длится таинство их приготовления и причастия, он их иначе, как кусочками хлеба в вине не называет, но когда доходит до поглощения чаши, появляются "тело и кровь". "Священник унес чашку за перегородку и, допив там всю находившуюся в чашке кровь и съев все кусочки тела Бога, старательно обсосав усы" ... и т. д. В обоих случаях не "остранение", а ирония и насмешка.

Такой же точно прием применен для развенчания и осмеяния театрального зрелища. Давать ему новое мудреное название нет необходимости. Он древен, как сама литература. Это метод пародии, сатиры, шаржа. Сатира же и шарж – не своеобразное видение вещей, а сознательное искажение их вида.

Ни в трактате об искусстве, ни в этюде о Шекспире и драме Лев Николаевич ни словом не обмолвился об источнике своих антитеатральных идей, как будто они рождены и выношены им самим. Между тем, вряд ли среди них можно найти хоть одну оригинальную; все заимствованы. Заимствован даже "прием остранения". Спектакль, виденный Наташей, очень похож на спектакль Парижской оперы, описанный в одном романе XVIII века. Там те же картонные ширмы с грубо намаляванными на них предметами, тот же большой холст на заднем плане, расписанный одинаковым образом, и даже с дырой в небе (луна) и с другой дырой в земле, откуда выходили демоны. В манере гротеска, близкой к толстовской, описываются танцы, пение и игра музыкантов. Герой романа, смотревший спектакль, относится ко всему происходящему на сцене с таким же недоверием и осуждением, как Наташа Ростова, и такими же нелепыми и бессмысленными кажутся ему аплодисменты публики.

Роман этот — "Новая Элоиза", автор его — Жан Жак Руссо.

Руссо — вот имя, что подобно водяному знаку на бумаге проступает чуть не во всех писаниях Толстого. В России, где Толстой — вегетарианец, непротивленец злу, земский деятель и мировой посредник вытеснил всякий иной интерес к себе, о его руссоизме говорили мало. Никто не придавал значения тому, что уже в 15 лет он носил медальон с портретом Руссо вместо нательного креста, перечитал все двадцать томов сочинений, что в 28 лет совершил паломничество к святым женеvским местам, где жил сам пророк и действующие лица его романов. Специально съездил в Clarens, местечко, связанное с именем Юлии — героини "Новой Элоизы". Под старость говорил, что в его жизни было два благотворных влияния — Руссо и Евангелие. И совершенно законно утверждение профессора Бенруби: "Толстой — это Руссо XIX века".* Смешна, конечно, мысль, будто в Руссо он видел литератур-

* Benrubi — "Tolstoï continuatèur de Rousseau". Tom III des Annales de la Societe J. J. Rousseau. Genève, 1907. Статья эта вышла также отдельным выпуском в том же году в Женеве.

ного мэтра. Описание парижской оперы в "Новой Элоизе" — плоско и бледно в сравнении с изумительными страницами "Войны и Мира", и не Толстому было учиться писать по таким образцам, но идея высмеивания и опорочения оперного спектакля за нарочитость и ненатуральность идет от Руссо. От него же и все прочие взгляды Толстого на театр. Впервые обративши внимание на сходство театральной сцены в "Воине и Мире" с такой же сценой в "Новой Элоизе", профессор Бен-руби посвятил этому не больше трех строчек. Не многим больше уделил и Милан Маркович, коснувшийся этого сюжета двадцать лет спустя.* Ни тот, ни другой не продолжили своих наблюдений и параллелей и, видимо, не догадывались, что в интересующем нас эпизоде "Войны и Мира" нашла сюжетное развитие целая философская концепция Руссо.

* * *

Наиболее полно она выражена в письме к Д'Аламберу. Издатель энциклопедии поместил под соответствующей литературой статью о Женеве, где выразил сожаление, что в этом городе до сих пор нет театра. Руссо ответил обширным посланием. Он уверял, что отсутствие театра не недостаток, а достоинство Женевы как добродетельного города. Театральное зрелище не исправляет, а портит нравы. Честные герои там лишь разговаривают, а порочные действуют, привлекая тем самым симпатии зрителей. Старческий возраст представлен в трагедиях тиранами, узурпаторами, в комедиях — ревнивцами, жадными ростовщиками, педантами, невыносимыми отцами, а молодости отведена одна роль — любовников, пылающих незаконной страстью, обманывающих своих близких. Безнравственность театра прежде всего в том, что он ложь, неестественность, удаление от природы — матери всего чистого в человеке. Разыгрывается спектакль величайшими лжецами, поддельвающими самих себя, надевающими личину чужого характера, "забывающими свое собственное место в силу необходимости занять чужое", говорящими не то, что думают, кажущимися

* Milan J. Markovitch — "Jean-Jacques Rousseau et Tolstoï". Paris 1928.

не такими, каковы они есть на самом деле, имитирующими страсть, оставаясь при этом холодными. Женскую же часть актерского сословия Руссо приравнивает к существам самого низшего порядка, забывшим скромность, добрые нравы и показывающимся за деньги публично.

Нам ясно, что Mlle Georges с ее оголенными в ямочках руками и аморальным репертуаром взята Толстым не из биографии, не из истории, а со страниц письма Руссо к Д'Аламберу.

Для молодежи театр особенно опасен исходящим от него тонким ядом сексуальных страстей. И это не потому, что в театре показывается одна преступная любовь. Напротив, такие представления менее соблазнительны, чем пьесы целомудренные.

Порой ужас, вызываемый зрелищем преступной любви, служит противоядием против нее. Зло театра не в прямом возбуждении страстей, а в том, что он "располагает душу к чувствам слишком нежным, которые удовлетворяет потом издержками добродетели". Сюжеты вполне целомудренные гораздо соблазнительнее откровенно развратных сцен. Руссо приводит случай, описанный Плутархом, когда патриций Манилиус получил строгое внушение от Сената за то, что поцеловал свою жену в присутствии дочери. Целомудренная страсть (*les chastes feux*) матери могла вызвать у дочери страсть менее чистую. "Созерцатель законной любви предается любви преступной". На этом покоится вся развратительная сущность театра. Чем больше там влюбленных пастушков и кротких воздыханий, тем заразительнее его воздух для юных душ. Испытываемые там сладкие эмоции не вызываются определенным предметом, но они порождают потребность в нем (*elles en font naître le besoin*). "Они не делают выбора лица, которое надо любить, но заставляют делать такой выбор". Вот почему женевский философ так отрицательно относится к "скандальному смешению мужчин и женщин" в современном театре. Его не было в древней Греции, где все роли исполнялись одними мужчинами и где актерское искусство представляло не профессию, а род общественного служения. От смешения полов избавлена была не одна сцена, но и зрительный зал. По свидетельству Плутарха афинские женщины, дорожившие своей репутацией, располагались на верхней галерее, только куртизанки занимали места в части театра, отведенной мужчинам.

Надо ли говорить, что образ "голой" Элен Безуховой, сидящей в ложе на виду и привлекающей взоры всего зала, — выведен из этих пуританских сентенций Руссо? На балах она обыкновенная светская дама, но в опере — царица греха и соблазна, и ей, как всякой грешнице, хочется совратить чистую девушку, сидевшую, по несчастью, не на галерке, а в соседней с нею ложе.

Руссо подсказал Толстому и психологический мотив, послуживший условием вовлечения Наташи в пучину соблазна. Он родственен "универсализму" и блестяще разработан в наши дни Жюлем Ромэном. Это, когда человек теряет самого себя и весь захватывается душой сборища. Театр, согласно Руссо, обладает этой способностью изолировать от всего, кроме сцены и зала, — и заставляет забывать друзей, соседей, близких. Забыла их и Наташа. Еще перед самым отъездом в оперу, стоя перед зеркалом одетая, она испытала прилив необыкновенной нежности к князю Андрею. Всю дорогу, в карете, предавалась этому чувству. Но как только капельдинер отворил дверь в зал, "блеснули освещенные ряды лож с обнаженными плечами и руками дам, и шумящий и блестящий мундирами партер" — на нее пахнуло чародейной стихией.

Первое время она пыталась еще бороться с нею, ее шокировало все происходившее на сцене, вызывали удивление аплодисменты и серьезное отношение публики к совершенно несерьезному, как ей казалось, действу. Но скоро огни люстры, блеск мундиров и дамских плеч, согретый толпою воздух опьянили Наташу. "То ей приходила мысль вскочить на рампу и пропеть ту арию, которую пела актриса, то ей хотелось зацепить веером недалеко от нее сидевшего старичка, то перегнуться к Элен и зашекотать ее". Фальшь и неестественность сценической игры перестала ее удивлять. "Должно быть это так надо". Ложь Элен, одинаково всем улыбавшейся, уже не казалась ей чем-то нехорошим, она сама так же улыбнулась своей первой любви — Борису, пришедшему к ней в ложу, чтобы сообщить о помолвке с Жюли. А когда она посидела вместе с Элен, поговорила с Анатолем, и потом снова вернулась к отцу, подчинение ее блестящему театральному миру совершилось окончательно. "Все прежние мысли ее о женихе, о княжне Марье, деревенской жизни ни разу не пришли ей в голову, как будто все то было давно, давно прошедшее".

Только приехав домой, очнулась и ахнула: как это могло случиться? И еще раз, Толстой, как бы для того, чтобы не оставить сомнений относительно причины странного помрачения, объясняет его наваждением театра. "Там, в этой огромной освещенной зале, где по мокрым доскам прыгал под музыку с голыми ногами Dupont в курточке с блестками, и девицы, и старики, и голая с спокойною и гордою улыбкою Элен в восторге кричали браво, — там под тенью этой Элен, там это было все ясно и просто; но теперь одной, самой с собой, это было непонятно".

До какой степени Толстой проникнут учением Руссо о театре как вертепе зла, видно из сказки о девочке Вареньке. Дети, едва войдя в здание театра, уже подавлены и чувствуют недоброе. Одна девочка чуть не разрыдалась. А ведь кто не знает, каким забываемым праздником бывает в детстве посещение спектакля!

* * *

Развенчивая и сокрушая профессиональный театр, Руссо вовсе не хочет прослыть врагом всяких развлечений. Потребность в них заложена в природе человека, это одно из его "естественных прав". Безнравственному профессиональному театру он противопоставляет множество других увеселений — тоже "спектаклей", но без "купленных" удовольствий, ничем не стесняемых и не отравленных пользой и выгодой. Они свободны, благородны, невинны. "Что же, однако, будет предметом этих спектаклей, что там будут показывать?" — спрашивает он и отвечает: "ничего". "Разбейте на площади шатер, увенчанный цветами, соберите народ и вы создадите праздник". Всюду, где наблюдается стечение народа, где царит свобода и благосостояние, существуют условия для таких спектаклей. Лучшими их образцами были древнегреческие игры, общественные и религиозные процессии и церемонии. Но и в новое время религиозные и бытовые обряды, состязания стрелков или парусных судов, публичная раздача наград — суть такие же спектакли. Их нужно превратить в широкие народные празднества. Как известно, эта идея Руссо осуществлена была во Франции в эпоху Конвента, и сам Робеспьер участвовал

в процессиях в честь "разумного существа". В таких "спектаклях" нет деления на зрителей и актеров, и происходят они чаще всего не в закрытых помещениях. Обращаясь к защитникам театра, Руссо восклицает: "народ счастлив не на ваших праздниках, он счастлив на воздухе под открытым небом". Только такие, озаренные солнцем действия воспитывают ту молодежь, что выглядит порой форменными сорванцами, "но из этих сорванцов выходят люди, горящие желанием служить родине и проливать за нее кровь". Смиранные и скромные со взрослыми, они в своей среде горды и смелы, дерутся и борются со всем пылом, иногда ранят друг друга, зато потом обнимаются и плачут. Таковы были женеvцы, которых знал Руссо. Они, по его словам, не заботились о цвете лица и сохранности причесок.

Как тут не вспомнить барышень Ростовых, пришедших в оперу и следующих по коридору бенуара в свою ложу: "Nathalie, vos cheveux" – прошептала Соня.

* * *

Толстой не упустил ни одного из откровений учителя. Рассуждения о "невинных" спектаклях под открытым небом, овеянных воздухом полей, вошли так же прочно в систему его взглядов, как и отрицание театра профессионального. Не будь у нас письма к Д'Аламберу, мы вряд ли бы догадались, что описание охоты и святочных увеселений в усадьбе Ростовых задуманы не по каким-нибудь мотивам, а в плане все той же руссоистской философии театра.

Это – своего рода антитеза эпизода с посещением оперы. Все сказанное Руссо о чистоте и благотворности забав на лоне природы воплощено Толстым в очаровательных сценах и образах. Конечно, из перечисленных Руссо "спектаклей", охота и святки выбраны были по причине наличия их в русском быту и близкого знакомства с ними яснополянского писателя. Но не малую роль сыграл и прямой подсказ Руссо. Он не раз ссылается на любовь добродетельных обывателей Женеvы к охоте. Многие из них, по его словам, и живут за чертой города затем, чтобы удобнее было предаваться этому удовольствию. Почтенные отцы семейств часто выезжают с детьми

в деревню для этой цели, и именно охота делает их потомство таким похожим на древних спартанцев. К тому же, псовая и соколиная охота в старину отличалась церемониями и обрядами, в которых участвовали десятки и сотни лиц. Она, в самом деле, походила на спектакль. В XIX веке обрядность была в достаточной мере утрачена. У Толстого можно заметить лишь слабый намек на нее в упоминании об "общем совете охотников", в "ритуальных" разговорах Николая Ростова с Данилой, в торжественном выезде охоты и вступлении в силу той неписаной табели о рангах, по которой простой доезжачий становился фельдмаршалом и мог грозить старому графу арапником. По этой табели даже между братом и сестрой образовалось огромное расстояние, которое Николай не замедлил дать почувствовать Наташе.

Полные буколической поэзии сцены охоты в "Войне и Мире" рассматриваются обычно как страница "помещичьего быта". Но они — страница философии Жан Жака Руссо. Как чисты, свежи переживания и страсти участников охоты! И можно ли сравнивать Наташу-амазонку, несущуюся по полям за зайцем, с Наташей в ложе московской оперы? Она и сама считала эти минуты лучшими в своей жизни. Спектакль на великой оркестре природы совершил чудо с этой возросшей в барских хорах девочкой. У нее, как подземный источник, вырвался наружу темперамент, склад и чувствования ее народа. Речь идет о знаменитой пляске Наташи в доме дядюшки. Охота примирила Николая с соседом помещиком, давнишним врагом Ростовых, с которыми у него была тяжба.

Так же чисты и невинны святочные забавы молодых Ростовых, когда они ряжеными едут в имение к Мелюковым. Трудно допустить, чтобы Толстой не имел здесь намерения противопоставить юношески-целомудренную, полную аромата любовь Сони и Николая преступной и греховной страсти Наташи, зажженной в ней колдовством профессионального театра.

* * *

Самые, казалось бы, бездумные, безыдейные эпизоды в произведениях Толстого пронизаны философскими, религиозными, морально-этическими воззрениями. Забывать об

этом при изучении "единоцелостного словесного замысла" его произведений, значит не далеко уйти в их понимании. Снова, как в доформалистические времена, мы чувствуем себя не вправе отказываться от рассмотрения идейной стороны этого замысла. Острота разобранного здесь сюжета заключается как раз в том, что идейная сторона в нем выступает в роли детерминирующего начала. И она опять возвращает нас к загадке писательства, "отмененной" одно время формалистическим учением о приеме и материале. Приходится признать, что формализм не подвинул нас далеко даже в способности подвергать анализу вино и хлеб в творческой чаше писателя; таинство же пресуществления их в тело и кровь великого искусства непостижимо и по сей день.



ЗАМОЛЧАННЫЙ МАРКС

В личности и в учении апостола коммунизма есть глава, про которую нельзя сказать, что ее скрывают. Относящиеся к ней материалы опубликованы, но широкий читатель их не знает. Если "Капитал", "Коммунистический манифест", "Анти-Дюринг" и прочие "богослужебные" книги выпускаются огромными тиражами и прямо-таки навязываются публике, то для ознакомления со статьями из "Новой Рейнской Газеты" надо обращаться к малораспространенным и редко встречающимся изданиям, вроде штутгартского "Aus dem literarischen Nachlass von K. Marx, F. Engels und F. Lassal". Так же трудно доступны письма, касающиеся темы, о которой собираемся говорить здесь. Нужен особый исследовательский интерес, чтобы из нескольких томов "Briefwechsel", изданных трудами Ф. Меринга, Бебеля, Каутского, Бернштейна, извлечь необходимые тексты. Такой труд, конечно, не для массового читателя. Последователи же Маркса и марксоведы отнюдь не ставят задачей облегчение знакомства с ними. Если им и приходится порой касаться пикантного материала, они почти всегда сглаживают его одиозность, дают ему толкование, благоприятное для Маркса. Даже Эдуард Бернштейн, "ревизионист", первый посягнувший на культ непогрешимости учителя, старается оправдывать самые дикие его высказывания.

Только политические противники Маркса, вроде Джемса Гийома, давно отметили их "дикость", но их одинокие голоса заглушены дружным хором марксистов. Из русских "полумарксистов" едва ли не единственным, обратившим внимание на ересь вождей, был В. М. Чернов — лидер партии эсеров. В парижской газете "Жизнь" он напечатал в 1915 году серию статей, под псевдонимом Гарденина, которая появилась через год в Петрограде на страницах "Русского Богатства", озаглавленная "Марксизм и славянство", а летом 1917 года под тем же заглавием вышла в Петрограде отдельной брошюрой.

В буре тех дней она вряд ли привлекла к себе внимание; с приходом же к власти большевиков, поднятая в ней тема попала в разряд запретных и пребывает таковой до сего дня.

Между тем, никогда за все 150 лет, протекших со дня рождения создателя "научного социализма" не было более удачного момента, чем сейчас, чтобы припомнить такие его высказывания, о которых ортодоксальные марксисты стараются не говорить, как о секретной болезни. Именно сейчас, когда мировая революция делает ставку на национальные противоречия, когда ни "пролетариат", ни "революционное крестьянство", ни даже "трудящиеся" не фигурируют в революционном словаре, уступив место "народам", "сегрегациям", "расовым дискриминациям", полезно открыть запечатанную книгу и посмотреть, что писал о "расах" тот, кто призывал пролетариев всех стран соединиться и кто считается создателем современного учения о политическом расширении национальной проблемы. Говорю "считается", потому что на самом деле это учение создано не им, а его эпигонами в эпоху II-го Интернационала. Когда покойный Р. А. Абрамович, лет 20 тому назад поместил в "Социалистическом Вестнике" три больших статьи с изложением социал-демократической точки зрения на национальный вопрос, там совсем не оказалось ссылок на основоположников марксизма. Перечислялись труды Карла Реннера, Бруно Бауэра, Каутского, Медема, всех представителей так называемой австро-марксистской школы, но ни Маркса и Энгельса, ни лиц из ближайшего их окружения не упоминалось. И это не случайно. Между теоретиками II-го Интернационала и Марксом — глубокая пропасть в воззрениях на национальный вопрос.

Чтобы не перечислять всех противоречий, коснемся знаменитого права наций на самоопределение, сделавшегося важнейшим лозунгом II Интернационала. Его нет у Маркса. Самое слово "самоопределение" берется часто в иронические кавычки. Если он и требовал иногда свободы и независимого государственного существования для какого-нибудь народа (ирландцев, поляков, итальянцев), то не в силу права и справедливости, а по сугубо утилитарным соображениям. Независимости Ирландии хотел не для самой Ирландии, а для ускорения государственного переворота в Англии. Потребовал на международном конгрессе в Женеве (1866 г.) самоопределения

национальностей Российской Империи, но слышать не хотел о таком же самоопределении австрийских и турецких славян. Скорейшая гибель и уничтожение — вот что желал он этим наиболее угнетенным народам Европы. Внимание же его к российским народам он откровенно объяснял намерением разрушить Империю.

Он никогда не понимал "самоценности" права на самоопределение.

В революционном 1848 году поднялись венгры и чехи. Оба восстания имели одну и ту же цель — вырвать свою страну и народ из-под австрийской власти. Но все симпатии Маркса-Энгельса принадлежали только одному из них — венгерскому; другое, чешское, упоминается не иначе, как с величайшей злобой, оно объявлено "реакционным" и чехам грозят за него мстью.

Современному читателю трудно примирить такие высказывания с укоренившимся представлением о Марксе — глашатае интернационализма и руководителе 1-го Интренационала. Исторические факты не дают ни малейшего права делать различия в природе венгерского и чешского восстаний. Но Маркс не исходил из фактов. Он руководствовался отвлеченной исторической доктриной. В молодости оба они с Энгельсом были гегельянцами, и многое из гегелевского учения довлело над ними всю жизнь, особенно популярное в те времена деление народов на исторические и неисторические.

У Гегеля оно основывалось на идее саморазвития мирового духа, Маркс и Энгельс подвели под него свой собственный базис в виде учения об экономическом прогрессе. Историческими народами были для них те, которые преуспевали в смысле материального процветания и на его основе создали крепкую государственность и культуру. Они — носители прогресса, хозяева истории. Им позволено устранять со своего пути народы отсталые, забирать их земли, богатства и самих уничтожать. "Народы, никогда не имевшие собственной истории, подпавшие с момента достижения ими первой грубой степени цивилизации под чужое господство, такие народы не имеют никакой жизнеспособности и никогда не достигнут никакой самостоятельности". Американцам не ставят в вину захват Техаса и Калифорнии, вырванных "из рук ленивых мексиканцев". Мексиканцы не знали, что с этими землями

делать, а вот янки, за короткий срок, развили там кипучую деятельность, насадили промышленность, построили города, принесли цивилизацию на берега Тихого океана. "Быть может, — пишет Маркс, — "независимость" некоторого числа испанских калифорнийцев и техасцев потерпела от этого; быть может, "справедливость" и другие моральные принципы были нарушены там и сям при этом случае, но что значат эти нарушения против таких всемирно-исторических фактов?" Надо ли говорить, что оправданием захвата Техаса и Калифорнии оправдывался и захват Египта, Конго, южной и северной Африки и все колониальные захваты времен Дизраэли, Жюль Ферри, Бисмарка, Бюлова, Леопольда II... Что сказал бы Маркс своим теперешним последователям, выбросившим лозунг "антиколониализма"?

В одной из корреспонденций в "Нью-Йорк Дэйли Трибюн" он описывал хозяйничанье англичан в Индии. Ему прекрасно были известны их хищнические приемы, беспощадный грабеж, следствием чего были систематические голодовки и неслыханное по размерам вымирание индусов. Но все прощается англичанам за их роль разрушителей патриархального хозяйственного уклада и быта туземцев, за внедрение в индусскую экономику капиталистических начал. Он уподобляет это социальной революции. "Совершая эту социальную революцию в Индостане, Англия, конечно, руководилась исключительно низменными интересами и действовала грубо, желая добиться своего. Но дело не в этом. Весь вопрос в следующем: может ли человечество выполнить свое назначение без коренной социальной революции в Азии? Если оно этого не может, то Англия, каковы бы ни были ее преступления, при совершении этой революции, была лишь невольным орудием истории".

Как примирить все это с социалистическим учением?

Автор "Капитала" вышел из положения гениально. Он объявил неисторические народы реакционными — врагами прогресса и революции. "Нет такой страны в Европе, которая не обладала бы в том или другом уголке обломками одной или нескольких народностей, представляющих остатки прежнего населения, затесненного и угнетенного тою народностью, которая стала потом носительницей исторического развития. Эти остатки племен, безжалостно растоптанных ходом истории,

как выражался где-то Гегель, становятся и остаются вплоть до их полного угасания или денационализации фанатическими приверженцами и слугами контрреволюции, так как уже все их существование представляет вообще протест против великой исторической революции". Напротив, история экономически и государственно сильных национальностей священна, как история избранных народов.

В Австрии существуют, по мнению Маркса, только три таких носителя прогресса, принимавших деятельное участие в истории и сохранивших свою жизнеспособность, это – немцы, венгры и поляки. И потому они революционны. "Миссия всех других крупных и мелких племен заключается, прежде всего, в том, чтобы погибнуть в революционной мировой буре. И потому-то они теперь контрреволюционны"... "Все эти маленькие тупо-упрямые (stierkoeufigen) национальности будут сброшены, устранены революцией с исторической дороги".

Нет нужды распространяться о том, как звучат подобные речи для современного уха, воспитанного на идее национальной терпимости и на осуждении расовой ненависти. Но нельзя не удивляться, что это изуверство, вот уже сто лет, не встречает слова осуждения со стороны последователей коммунистического пророка и не наложило на ореол его святости ни малейшего пятна. И это в то время, когда его именем разрушаются колониальные империи и создаются государства среди людоедских племен.

Сколько раз, и в статьях, и в переписке Маркса-Энгельса мы встречаемся с утверждением, будто реакционность славян объясняется не одним их участием как солдат в подавлении немецких и венгерских восстаний; она им присуща "от природы". Славяне и тысячу лет тому назад были контрреволюционны, подобно тому как немцы и мадьяры были революционерами еще при Карлах Великих, при Фридрихах Барбароссах. Энгельс так и говорит: "В Австрии, за исключением Польши и Италии, немцы и мадьяры в 1848 году, как и вообще в продолжение последнего тысячелетия, взяли историческую инициативу в свои руки. Они – представители революции. Южные славяне, уже тысячу лет тому назад взятые на буксир немцами и мадьярами, только для того поднялись в 1848 году на борьбу за восстановление своей национальной

независимости, чтобы тем самым одновременно подавить немецко-венгерскую революцию. Они — представители контрреволюции”. Их с одинаковым возмущением упрекали в двух взаимно исключаящих друг друга грехах: в том, что они стоят не за революцию, а за Габсбургов, и в том, что устраивают восстания против Австрийской империи. Читателям так и не объясняют, каким образом можно соединить верность Габсбургам со стремлением выйти из-под их власти. Не объясняют и другое: почему венгры, захотевшие отделиться от Австрии, сохранили репутацию революционеров, а славяне за такое же точно намерение предаются анафеме. С ними обещают свести счеты после революции. ”Кровавой мезтью отплатят славянским варварам, — грозит Энгельс, имея в виду победу революционной стихии, — всеобщая война, которая тогда вспыхнет, рассеет этот славянский Зондербунд и сотрет с лица земли даже имя этих упрямых маленьких наций”.

Когда Чернов-Гарденин в 1915 году с возмущением говорил об идее деления народов на революционные и контрреволюционные, Ленин горячо вступился за своего учителя. ”Мы, марксисты, всегда стояли и стоим за революционную войну против контрреволюционных народов. Например, если социализм победит в Америке или в Европе в 1920 году, а Япония с Китаем, допустим, двинут тогда против нас, сначала хотя бы дипломатически, своих Бисмарков, мы будем за наступательную революционную войну с ними”.

Правда, по Ленину, Китай и Япония контрреволюционны лишь в том случае, если двинут своих Бисмарков; по Марксу же, они будут контрреволюционны и в том случае, если не двинут их.

Англичане беспощадно подавляли все ирландские восстания, пруссаки подавили дрезденское восстание, австрийцы задушили освободительные восстания чехов, итальянцев, венгров, тем не менее, ни англичане, ни обожаемые немцы не отнесены к нациям реакционным. Маркс-Энгельс могли поругивать Виндишгреца, Радецкого, но состоявших под их командой немцев ни в одном контрреволюционном грехе не заподозрили. Чехи же, хотя и подняли восстание и героически сражались на баррикадах, — реакционны. Реакционны как раз потому, что восстали, ибо восстали против немцев — избранного революционного народа. В те самые дни, когда на улицах

Праги лилась кровь, оба друга писали в "Новой Рейнской Газете", что хотя им по-человечески и жаль чехов, но победят они или потерпят поражение, их национальная гибель, во всяком случае, неизбежна". По их словам, в той великой борьбе между реакционным Востоком и революционным Западом Европы, что должна разразиться всего, может быть, через несколько недель, восстание чехов против немцев ставит их на сторону русских — на сторону деспотизма против революции. "Но революция победит, — угрожали они, — и чехи окажутся первыми жертвами угнетения с ее стороны". Чехам, таким образом, нет спасения: если их не добьет и не достреляет князь Виндишгрец, то добьет и достреляет Карл Маркс на другой день после победы революции. Они обязаны исчезнуть как национальность, потому что имели несчастье попасть в разряд народов "неисторических".*

* * *

Марксу не принято приписывать националистических страстей. Даже Чернов, квалифицировавший образ его мыслей как шовинизм, дал этому шовинизму эпитет "революционный", что в достаточной степени бессмысленно, так как шовинизм категория национальная и в другой план непереносима. Но как объяснить несомненную и ярко выраженную неприязнь к целому ряду народов? Допустим, что авторы "Коммунистического Манифеста", в самом деле, ничем кроме социализма не горели, это не спасает их от упрека. Горение на манер

* Bertram D. Wolfe в своем труде "Le marksisme une doctrine centenaire" пишет:

"О 'славянской сволочи' (Lumpengesindel) Маркс писал уже в своей статье, подводившей итоги революционного 1848 года. Немного позже, в феврале 1849 года, ту же тему развил Энгельс, заявляя, что судьба западных славянских народов — 'дело уже конченное'. 'Их завоевание совершилось в интересах цивилизации... Разве же это было 'преступление' со стороны немцев и венгров, что они объединили в великой империи эти бессильные, расслабленные, мелкие народишки (Nationchen) и позволили им участвовать в историческом развитии, которое иначе... осталось бы им чуждым?!".

вышеописанного не делает чести ни им, ни социализму. Неужели надо предположить не "революционный", а самый настоящий шовинизм? В таком случае, чьим шовинистом мог быть Маркс? Еврейским, поскольку он еврей? Но он и о евреях писал столь неласково, что существуют печатные работы, обвиняющие его в антисемитизме. Значит, немецким? Как ни странно звучит сейчас такой вопрос, отбросить его не так просто. То, что почти не встречается в наши дни, было сравнительно частым явлением во дни Маркса. Стоит вспомнить Дизраэли — вдохновителя английского джингоизма. В той же Германии до самого прихода Гитлера было не мало евреев, называвших себя немцами иудейского вероисповедания. А Маркс, несмотря на большое количество предков-раввинов, не принадлежал к иудейству. Уже отец его был протестант; сам же он, хоть и сделался в юношеском возрасте атеистом, воспитан с детства в протестантизме, а мать и старшая сестра Софи являли типы настоящих протестантских фанатичек. Все это — не в пользу его еврейства. Если прибавить женитьбу на Женни фон Вестфален и постоянное вращение в немецких кругах и семьях, то не трудно понять его германизацию. К тому же, как это рисует в своей книге Б. Николаевский, нигде, может быть, не существовало более удачных условий для ассимиляции евреев, чем в Германии. Особенно ухаживали за интеллигенцией. На Маркса, как на в высшей степени одаренного человека, не могла не оказать влияния и культура страны, особенно великая немецкая философия. Едва ли не Гегель, чьим поклонником он был в молодости, привел его к германизму. Ведь конечным пунктом всемирного развития и наивысшим воплощением мирового духа, по Гегелю, было прусское государство Фридриха-Вильгельма III. Раз сам мировой дух был пруссаком, то почему бы не идти по его стопам Карлу Марксу? От еврейства он мог усвоить темперамент, психический склад, но по умонастроению был совершенным немцем. После войны 1870 года, когда в "Интернационале" его пангерманизм стал вызывать толки, он с гордостью отвечал — да, я немец и хороший немец (von Haus aus ein Deutscher).

Что марксизм вылутился из немецкого гегельянства, это знают все, но что "революционная нетерпимость" Маркса родилась из немецкой национальной нетерпимости и высокомерия, этого знать не хочет ни один марксист. Гегель был,

по-видимому, главным виновником того, что немецкий народ, для Маркса, имел все права на первенство. Достаточно беглого просмотра его сочинений и переписки, чтобы заметить особый тон всякий раз, когда речь заходит о немцах. Это ничего, что он и Энгельс частенько поругивают Бисмарка, Фридриха-Вильгельма, Вильгельма I, прусских юнкеров. Однажды они похвастались тем, что неоднократно выступали против всяких проявлений национальной ограниченности немцев, но тут же оговорились: "В отличие от некоторых других лиц, мы не ругали все немецкое зря и с чужих слов". Критика была семейная. Но во всех высказываниях, касавшихся общего взгляда на германский мир, у них неизменно звучали фанфары. Они ведь родились и выросли в эпоху шумного превознесения германского гения и сознания превосходства всего германского. Порой они давали образцы настоящего юнкерского патриотизма, как это было во время франко-прусской войны 1870 года. Победы пруссаков они называли в своей интимной переписке "нашими блестящими победами". Тут они не далеко ушли от Лассаля, мечтавшего "дожить до времени, когда турецкое наследство достанется Германии и когда немецкие полки солдат или работников будут стоять на Босфоре".

Но патриотизм Маркса сказался в специальной области. Его национальная гордость состояла в том, чтобы не где-нибудь, а именно в Германии восторжествовало то дело, которому он посвятил жизнь. Честь открытия новой эры в истории должна принадлежать умнейшей и образованнейшей стране, породившей его — Маркса. В первое же десятилетие своей политической деятельности он до такой степени выявил эту тенденцию, что один из наблюдательных испанских парламентариев, Донозо Кортез, в 1850 году заметил: "У социализма существуют три великие арены: во Франции находятся ученики и только ученики, в Италии — исполнители чужих преступных замыслов и только исполнители; в Германии же — жрецы и учителя". *Ex Germania lux!* Статьи Маркса-Энгельса в "Новой Рейнской Газете" свидетельствуют, что для этих людей все совершившееся в 1848 году в Европе вершится вокруг одного стержня, одного имени, и это имя — Германия. Ожидая решающих для Европы событий, они и в мыслях не держат, будто разыграются они где-то во Франции, Англии, в любой другой развитой промышленной стране. Где бы они ни

начались, главной ареной будет Германия и триумфальный парад победных революционных армий состоится не в Париже и Лондоне, а в Берлине. Позднее, когда образовался Интернационал и Маркс добился в нем руководящей роли, всякие сомнения в великом провиденциальном назначении Германии отпали.

Ради этих национальных страстей он уже в 1848 году пошел на компромисс со своей теоретической совестью. Объявив немцев, в противоположность славянам, народом революционным, он погрешил против собственной теории прогресса, согласно которой никакая страна не может мечтать о революции, не имея к тому предпосылок в виде развитой промышленности и особого "радикального класса, связанного радикальными целями" — пролетариата. Его еще не было тогда в Германии, Энгельс в письме Вейдемейеру, от 12 апреля 1853 года, с грустью писал, что "в такой отсталой стране, как Германия, в которой имеется передовая партия, втянутая в передовую революцию, вместе с такой передовой страной, как Франция", — эта партия оказывается в трагическом положении. В случае серьезного конфликта, она не имеет шансов очутиться у власти, как это полагалось бы; стремление к власти для нее было бы преждевременным по причине общей отсталости страны и немногочисленности пролетариата. Маркс настойчиво вменял в обязанность Германии — создание собственного пролетариата. В 1865 году он жаловался Энгельсу на невозможность "далеко уехать" по пути революции на немногочисленном немецком рабочем классе.

Значит, по сравнению с англичанами и французами, немцы имели столько же прав на звание передового революционного народа, сколько и презираемые Марксом "неисторические" славянские народы. Но славян он заклинает согнуть с лица земли, а немцев всячески выводит в люди. Придумывает для них любопытный прием: "В Германии все дело будет зависеть от возможности поддержать пролетарскую революцию каким-либо вторым изданием крестьянской войны". На простом языке это значит: если пролетариат в Германии слаб и ничтожен, так это ничего — сделаем пролетарскую революцию крестьянскими руками; если наша передовая партия висит в воздухе, не имея социального базиса, — не важно! — лишь бы добраться до власти. Подхватывая тему

захвата власти, Энгельс предлагает уже заранее подготовить в нашей партийной литературе историческое оправдание нашей партии на тот случай, если это действительно произойдет”.

Не звучит ли в этих рассуждениях что-то до ужаса нам знакомое? Не ленинская ли это постановка вопроса о пролетарской революции в России, где не обязательны ни развитая индустрия, ни многочисленный пролетариат, но обязательна и необходима ”передовая партия” для совершения переворота любыми средствами? В 1848 году в Германии и в 1917 году в России революция готовилась не по марксистской теории, а вопреки ей.

Германия до самой смерти Маркса оставалась наименее индустриальной из всех великих стран Запада, но, невзирая на это, Маркс считал ее очагом прогресса и гегемоном пролетарского международного движения. Вся деятельность его направлена была на перенесение центра этого движения в Германию.

Сохранилось замечательное письмо его Энгельсу от 20 июля 1870 года — перед самым началом франко-прусской войны. Пересылая своему другу выпуск “Reveil” со статьей старика Делеклюза, будущего героя Парижской Коммуны, Маркс рвет и мечет по поводу одной фразы в этой статье: ”Франция единственная страна идей”. ”Это чистейший шовинизм! — восклицает он. — Французов надо вздуть (die Franzosen brauchen Pruegel.) Если пруссаки победят, то централизация государственной мощи будет использована для централизации германского рабочего класса. Кроме того, преобладание немцев перенесет центр тяжести европейского рабочего движения из Франции в Германию. Достаточно сравнить движение в этих двух странах с 1866 года до настоящего времени, чтобы видеть, что германский рабочий класс выше французского, как с точки зрения теоретической, так и организационно. Преобладание на мировой арене немецкого пролетариата над французским будет в то же время преобладанием нашей теории над теорией Прудона”.

В этой ”нешовинистической” тираде, что ни слово, то смертный приговор революционно-интернационалистической репутации Маркса. До более тесной зависимости германский социал-демократии от успехов германского оружия не доходил и Лассаль, пытавшийся одно время заключить союз

социализма с пруссачеством. Надобно знать негодование Маркса, с которым он отнесся к попытке Лассаля договориться с Бисмарком, чтобы в полной мере оценить приведенный здесь отрывок его письма. Напустить Мольтке и Бисмарка на французов, возомнивших себя носителями революционной идеи, выколотить из них такое высокомерие и под пушками заставить признать превосходство марксизма над прудонизмом — это ли не образ мыслей, достойный руководителя "Международного Товарищества Рабочих"! Таков он был и во время войны. Соблюдая социал-демократическое лицо в воззваниях Генерального совета Интернационала, он, в частной переписке, — совершенный пруссак. "Французов надо вздуть!". Он и Энгельс решительно одергивают простака Либкнехта, когда тот честно, по социал-демократическому уставу, вздумал обличать свое правительство и чинить неприятности Бисмарку. В одном письме Энгельс протестует против того, чтобы "какая-либо немецкая политическая партия проповедовала на манер Вильгельма (Либкнехта) полную обструкцию и выдвигала всякого рода побочные соображения взамен главного". Главное — конечно — победа над Францией. Так явствует из этого и из других писем. Энгельс в восторге от мощного патриотического подъема всех слоев немецкого населения, единодушно поддерживающего свое правительство, и освящает этот порыв как здоровое национальное чувство, потому что Германия, по его мнению, боролась за свое национальное существование. Французы же — отпетые шовинисты, как буржуа, так и пролетарии, как бонапартисты, так и социалисты; "до тех пор, пока этому шовинизму не будет нанесен удар, и крепкий удар, мир между Германией и Францией невозможен". "Я думаю, — заявляет он, — что наши (т. е. немецкие социал-демократы — Н. У.) могут примкнуть к национальному движению". Маркс вторит ему: "Война сделалась национальной". Он вполне разделяет восторг Энгельса по поводу первых побед пруссаков, и фраза в письме его друга — "Это мы выиграли первую серьезную битву" не встречает с его стороны никакой отповеди. Напротив, случай с Кугельманом позволил проявиться его пруссачеству с не меньшей откровенностью. Дело в том, что в воззвании Генерального совета Интернационала, отредактированном Марксом, было сказано, что хотя эта война со стороны немцев носит оборонительный характер, но лишь

до тех пор, пока германский рабочий класс не почувствует, что она из защиты превращается в нападение. Теперь, после блестящих успехов пруссаков, Кугельман решил, что такой переход от защиты к нападению совершился. Маркс строго отчитал Кугельмана, заявив, что вторжение немцев во Францию — чисто оборонительный акт, не имеющий ничего общего с агрессией. Кугельману, при всей его дружественности к Марксу, пришлось признать, что он ничего больше не понимает в гегельяно-марксистской диалектике.

Но вот, Наполеон III взят в плен, низложен, и в Париже объявлена республика. Немецкая социал-демократия в речах и воззваниях восторженно ее приветствует. Не могли не принять в этом участия и оба друга. Стоило, однако, французской секции Интернационала обратиться к немецкому народу с призывом прекратить братоубийственную войну и вывести войска из пределов Франции, как в переписке двух Аяксов начинает звучать прежняя нота. "Прокламация парижского Интернационала, — по словам Энгельса, — определенно свидетельствует о том, что эти люди вполне во власти фразы. Эти субъекты, поддерживающие Баденэ (Наполеона III) 20 лет, и шесть месяцев тому назад не сумевшие помешать ему получить шесть миллионов голосов против полутора миллионов и которых они бессмысленно и без всякого повода возбуждали против Германии, — эти люди вообразили теперь, когда победоносные немцы подарили им республику (и какую!), будто Германия должна немедленно оставить священную землю Франции, иначе — война до конца! Это старинное увлечение: превосходство Франции, неприкосновенность ее почвы, освященной 1793 годом, которое с некоторых пор служит средством прикрывать все французские свинства святостью слова республика". Неделю спустя после этого письма, у Энгельса звучит нота сожаления, что французов не удалось вздуть так, как это бы хотелось ему. "Продолжающаяся война начинает принимать неприятный оборот. Французы еще недостаточно побиты (*die Franzosen haben noch nicht Pruegel genug*), но с другой стороны Германия слишком уж торжествует".

Будь все приведенное здесь сказано обычным немецким патриотом, оно не представляло бы ни малейшего интереса, но в устах проповедников единения человечества (или хотя бы только пролетариата), апостолов братства народов, борцов

против национальной ограниченности — это образец редкого лицемерия. Прорвавшийся у них матерый германизм не остался незамеченным. Не одни французы, но социалисты многих стран возмущены были Марксом как руководителем той части Интернационала, что избрала в качестве своей штаб-квартиры крошечный городок Брауншвейг. Сразу же после войны началось против него восстание романских секций Интернационала. В марксоведческой литературе оно расценивается как борьба двух идейных течений, как борьба бакунизма с марксизмом, но немарксистские авторы освещают это совсем иначе. Сам Бакунин, на страницах брюссельской газеты “Liberté”, представляет смысл событий в Интернационале в виде реакции на пангерманистскую социалистическую мечту, родившуюся в голове Маркса и означавшую германское всемогущество, сначала интеллектуальное и моральное, а потом материальное. То же самое утверждал Джемс Гийом. Кропоткин рассматривал борьбу бакунистов с марксистами как “конфликт между латинским и германским духом”. Позднейшие исследователи, не принимавшие участия в борьбе и не связанные ни с одним из антагонистов, усматривали корень распри не в столкновении социалистических доктрин, а в национальных страстях и противоречиях. На социалистические доктрины и учения у Маркса существовал такой же взгляд, как и на “неисторические” народы. Все они должны исчезнуть, уступив место его, Маркса, гениальному открытию. Между тем, стоявшая на нем печать “made in Germany” слишком ясно бросалась в глаза современникам.

Недовольны были и тем, что Интернационал, фундамент которого заложен был не социалистами, а рабочими, первоначально носивший характер цехового пролетарского содружества, превращен был Марксом в заговорщицкую организацию. Пробравшись к руководству и получив возможность оказывать влияние на дела Международного Товарищества Рабочих, Маркс проявил абсолютную политическую нетерпимость. Он не только начал учить уму-разуму французов, англичан, швейцарцев, но и пускать в ход грубые способы давления, вовлекать их в ненужные и несимпатичные им политические акции, а всех сопротивляющихся поносить и обличать их “оппортунистические”, “мелкобуржуазные”, “мещанские” заблуждения.

Гибель I-го, так же, как распад II-го Интернационала совершились на почве *национальных* противоречий.

* * *

Но вернемся к самой яркой, к самой расистской теме высказываний Маркса-Энгельса о славянах. Ни о ком не отзывались они с большей ненавистью и презрением. Славяне не только варвары, не только "неисторические" народы, но — величайшие носители реакции в Европе. По словам Энгельса, они — "особенные враги демократии", главные орудия подавления всех революций. Это ничего, что выступали они простыми подневольными солдатами в армиях Елачича, Паскевича, Радецкого, Виндишгреца; ответственность за подавление венгерского, венского и итальянского восстаний возлагается не на этих генералов и не на имперское габсбургское правительство, а на бессловесных хорватов, словенцев, русских. У Радецкого добрая половина армии состояла из немцев, но помянуты ли они хоть одним худым словом? Контрреволюционный дух исходил, оказывается, не от них и не от генералов, а от солдат славянского происхождения. Мало того, в тех случаях, когда душителями чьей-либо революции откровенно выступали немцы, наши друзья призывали не верить этому. "До сих пор, — пишет Энгельс, — всегда говорилось, что немцы были ландскнехтами деспотизма в Европе. Мы отнюдь не намерены отрицать позорную роль немцев в позорных войнах 1792-1815 годов против Французской революции, в угнетении Италии после 1815 г. и Польши после 1772 г. Но кто стоял за спиной немцев, кто пользовался ими в качестве своих наемников или авангарда? Англия и Россия. Ведь русские и поныне еще похваляются тем, что они своими бесчисленными войсками решили падение Наполеона, и это, конечно, в значительной степени правильно. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что среди тех армий, которые своими превосходящими силами оттеснили Наполеона от Одера до Парижа, три четверти составляли русские или австрийские славяне. А угнетение немцами итальянцев и поляков! При разделе Польши конкурировали между собою одно славянское и одно полуславянское государство". Австрия у Маркса и Энгельса часто

обозначается как полуславянская держава, а кое-где говорится, что она и управляется славянами. Есть в одной статье совершенно исключительное место, трактующее хорватов вершителями судеб и гегемонами Австрийской Империи. Описывая движение правительственных войск в 1849 году, окруживших со всех сторон Венгрию, Энгельс трактует это так, будто не габсбургское правительство, не австрийские генералы, а хорваты, которым "дана в помощь сильная австрийская армия со всеми ресурсами", руководят войной.

Писать комментарий к этой строке вряд ли нужно.

Вообще статьи в "Новой Рейнской газете", да и большинство обзоров текущей политики двух друзей представляют такую бездну безответственных обобщений и выводов, личных, партийных и национальных пристрастий и самого простого невежества, что хочется внимательно посмотреть в лицо тем, которые до сих пор видят в этом образцы "научного социализма".

* * *

Напрасно, однако, думать, будто славян считают врагами демократии только за их службу в австрийской армии и за участие в карательных экспедициях. Эта вина — так себе, небольшая; главная причина — в их стремлении к национальной независимости. Бакунинское "Воззвание к славянам" вызвало пароксизм бешенства у обоих авторов "Коммунистического Манифеста". Не довольствуясь ссылками на объективную невозможность независимых славянских государств, не располагающих для этого ни географическими условиями, ни экономическими ресурсами, они усматривают главное зло в ущербе, который будет нанесен немцам. "Поистине положение немцев и мадьяр было бы весьма приятным, — писал Энгельс, — если бы австрийским славянам помогли добиться своих так называемых "прав"! Между Силезией и Австрией вклинилось бы независимое богемоморавское государство; Австрия и Штирия были бы отрезаны "южнославянской республикой" от своего естественного выхода к Адриатическому и Средиземному морям; восточная часть Германии была бы искромсана, как обглоданный крысами хлеб! И все это в благодарность

за то, что немцы дали себе труд цивилизовать упрямых чехов и словенцев, ввести у них торговлю и промышленность, более или менее сносное земледелие и культуру!” С негодованием цитируются те места из ”Воззвания к славянам”, где говорится о ”проклятой немецкой политике, которая думала только о вашей гибели, которая веками держала вас в рабстве”, о ”мадьярах, ярых врагах нашей расы, едва насчитывающих четыре миллиона человек, похваляющихся, что возложили свое ярмо на восемь миллионов славян”. Энгельс пышет возмущением: как! Упрекать немцев и мадьяр за их великую цивилизаторскую миссию? Ведь без них бы австрийские славяне остались глубокими варварами. Да и самое слово ”угнетение” вовсе не подходит для выражения характера взаимоотношений немцев со славянами. Слово это Энгельс берет в кавычки. ”Славяне угнетались немцами не больше, чем сама масса немецкого населения”. Что же до насильственной германизации, так ее попросту не было. ”Немецкая промышленность, немецкая торговля и немецкая культура сами собой ввели в стране немецкий язык”. Насильственную германизацию он признает только в отношении полабских славян, но считает, что их завоевание было в интересах цивилизации. Энгельс бесконечно благодарен средневековым Генрихам Львам и Альбрехтам Медведям, приобщившим железным мечом славян к германской культуре. С высот просвещенного девятнадцатого века, централизовавшего все, что еще не было централизовано, он поет дифирамбы подвигам старинных завоевателей. Централизация — это прогресс. ”И вот теперь являются панслависты и требуют, чтобы мы уничтожили централизацию, которая навязывается этим славянам всеми их материальными интересами! Словом, оказывается, что эти ”преступления” немцев и мадьяр против упомянутых славян принадлежат к самым лучшим и заслуживающим признания деяниям, которыми только могут похвалиться в своей истории наш и венгерский народы”.

Во второй половине XIX века вышло трехтомное историкогеографическое исследование чешского ученого Первольфа, посвященное кровавой эпопее захвата и ассимиляции немцами славянских земель. С приходом к власти Гитлера эта книга стала предметом особенной ненависти немцев. Их возражения на этот труд поражают сходством с только что приведенными строками Энгельса.

В ответ на призыв Бакунина "бороться не на жизнь, а на смерть, пока, наконец, славянство не станет великим, свободным и независимым", Маркс и Энгельс писали: "если революционный панславизм принимает эти слова всерьез и будет отrekаться от революции всюду, где дело коснется фантастической славянской национальности, то и мы будем знать, что нам делать. Тогда "беспощадная борьба не на жизнь, а на смерть" со славянством, предающим революцию на уничтожение и беспощадный терроризм". Напрасно оба друга спешат добавить, будто провозглашаемая ими борьба будет не в интересах Германии, а в интересах революции; ничем другим кроме старинной расовой ненависти язык этот не мог быть продиктован. На нем говорила вся Германия с каролингских времен и говорит по сей день. Ненависть к славянству — отличительная черта немецкой государственности и немецкого духа. "Я ненавижу славян. Я знаю, что это нехорошо, нельзя ненавидеть кого бы то ни было, но я ничего не могу поделать с собой", — признавался Вильгельм II. Не обладая честностью Вильгельма, Маркс и Энгельс вуалировали свой, поистине, нацистский шовинизм соображениями "революционной стратегии". Но они дали слишком много доказательств того, что не в революции и не в стратегии тут дело. Для людей, объявивших классовую борьбу движущей силой истории, по меньшей мере непоследовательно подменять ее борьбой между нациями. Сушим лицемерием была фраза в "Учредительном манифесте" Интернационала, призывавшая добиваться того, чтобы "простые законы нравственности и справедливости, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица, стали господствующими нормами и в международных отношениях. Писал это тот редактор "Новой Рейнской газеты", который в 1849 году печатал в ней свои прогнозы о скором наступлении мировой революционной войны, долженствующей стереть с лица земли "не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы. И это тоже будет прогрессом".

* * *

Напрасной была бы попытка представить эти настроения как временные или как заблуждение молодости. Они

сопровождали Маркса до могилы. В 1877-78 годах, во время Балканской войны, когда турки начали беспощадную резню болгар и когда даже "колониалист" Гладстон выпустил книгу с протестом против таких зверств, Маркс, живший в то время в Лондоне, объявил Гладстона русским агентом, а турецкие зверства – русской выдумкой. Друг его и оруженосец Вильгельм Либкнехт, в Германии, цинично заявил, что брожение на Балканах ничего общего с освободительной борьбой не имеет; он, Либкнехт, не знает славян, стремящихся к свободе. Этот господин выпустил книгу – "Zur orientalischen Frage oder: soll Europa kasakisch werden? Mahnwort an das deutsche Volk", – где развивал обычный марксистский взгляд на славян как на удобрение истории и на оплот русского деспотизма. Он сожалел, что Австрия, в результате политики Бисмарка, исключена из Германии. Вследствие этого "прорван вал, который шел через славянский мир от Балтийского моря до Адриатики" и теперь "Австрия предана почти беспомощной славянскому наводнению". Вся германская социал-демократия, марксистская и немарксистская, отличалась такими же настроениями. Признавал же Лассаль славян "за расы, которые имеют одно право: быть ассимилированными великими культурными нациями".

От современников не укрылась такая славянофобия.

"Есть ограниченные умы и узкие народные ненависти, которых убедить я не берусь, – писал Герцен в 1859 году, – они ненавидят, не рассуждая. Возьмите, чтобы не говорить о своих (Герцен пишет поляку), статьи немецких демократов, кичащихся своим космополитизмом, и взгляните в их злую ненависть ко всему русскому, ко всему славянскому... Если б эта ненависть была сопряжена с каким-нибудь желанием, чтобы Россия, Польша были свободны, порвали бы свои цепи, я бы понял это. Совсем не то. Так, как средневековые люди, ненавидя евреев, не хотели вовсе их совершенствования, так всякий успех наш в гражданственности только удваивает ненависть этих ограниченных, заклепанных умов".

Но все-таки, была одна славянская страна, не только не ввергнутая марксистами в Тартар, вместе с "неисторическими" народами, но вознесенная в революционное лоно Аврамово. Это Польша. Постоянно подчеркивалось: Польша – это не то, что прочие славяне, это гордый лебедь революции

среди гадких утят славянства. Маркс и Энгельс в 1848 году были самыми горячими ее поклонниками. Либерально-революционная ее репутация сложилась еще до них: особенно утвердилась она после 1831 года. Причина, по которой Европа так возлюбила Польшу, лучше всего видна из манифеста польского "Демократического общества" 1836 года:

"Польша в прошлом всегда защищала Запад от варварских вторжений татар, турок и москалей. Польша погибла потому, что когда на Западе освободительная человеческая мысль объявила войну старому порядку, на защиту которого ополчился русский деспотизм, Польша, исполняя свою историческую миссию, вступила в борьбу с этой силой, но была побеждена. Спасение Европы было отложено. Отсюда вытекал тот вывод, что дело спасения Польши есть дело спасения не одной только Польши, но всего человечества".

Из этой декларации видно, что сами поляки "историческую миссию" свою усматривали в сторожевой роли на Востоке. Турецко-татарская опасность миновала, значит, спасти Европу приходилось от москалей. За эту роль извечного врага России Европа и ценила Польшу. Больше всех ценили авторы "Коммунистического Манифеста". Энгельс, в неоднократно цитированной статье в "Новой Рейнской газете", писал в 1849 году, что ненависть к русским была поныне и останется у немцев их первою революционную страстью". Поляки были им милы, прежде всего, как враги России, а вовсе не за то, что они слыли прирожденными революционерами. Обывательская и политическая Европа, разбиравшаяся в польском вопросе столько же, сколько в русском, — понятия не имела о шляхетском характере польских восстаний, целью которых было национальное освобождение, и только. Руководители этих восстаний готовы были приветствовать революцию в любой стране, за исключением своей собственной. Подвиги их на парижских баррикадах и в армии Гарибальди были выслуживанием перед революцией с целью воспользоваться ее милостью для восстановления Польши. Только немногие, вроде Прудона, порицавшего Герцена за альянс с поляками, понимали это. Но понимали ли Маркс и Энгельс? Знали ли, что Польшу можно любить и ценить за что угодно, только не за революционность? Безусловно знали.

В письмах к Энгельсу от 2 декабря 1856 года Маркс

рассказывает эпизод из истории 1794 года, когда "Комитет общественного спасения" подверг сомнению революционность поляков и отказал им в содействии. Он вызвал к себе уполномоченного польских повстанцев и задал этому "гражданину" несколько вопросов: "Как объяснить, что ваш Костюшко, народный диктатор, терпит рядом с собой короля, который к тому же, как это Костюшко должно быть известно, посажен на трон Россией? Как объяснить, что ваш диктатор не осмеливается произвести массовую мобилизацию крестьян из страха перед аристократами, которые не желают поступаться "рабочими руками"? Как объяснить, что его прокламации теряют свою революционную окраску по мере его удаления от Кракова? Как объяснить, что он немедленно покарал виселицами народное восстание в Варшаве?.. Отвечайте!". Польскому "гражданину" пришлось молчать.

Дальше увидим, что оба друга прекрасно разбирались во внутренних социально-политических делах Польши, знали, что в роли революционеров выступали крепостники-помещики, не стремившиеся к социальному освобождению. Но презирая польских патриотов, они постоянно поддерживали идею восстановления Польши, преимущественно Царства Польского, то есть русской ее части, умалчивая о Познани, а потом и откровенно признавая ее не подлежащей освобождению. Государственное восстановление Польши прокламировалось не для блага польского народа, а как средство разрушения Российской империи.

Никто никогда не говорил о России с такой проникновенной ненавистью, как Маркс; разве что его русские ученики, считавшие эту ненависть одной из самых святых и правых. "Оплот мировой реакции", "угроза свободному человечеству", "единственная причина существования милитаризма в Европе", "последний резерв и становой хребет объединенного деспотизма в Европе" – вот излюбленные его выражения. Список причин, по которым он возненавидел нашу страну, столь велик, что занял бы несколько страниц, но весь он сводится к обвинению России в тиранической политике по отношению к Германии. Россия, будто бы, стояла всегда на страже германской раздробленности; еще на Венском конгрессе узаконила разделение Германии на 36 мелких государств, и в дальнейшем всякое самостоятельное изменение государ-

ственного строя ей было запрещено Николаем I. Россия виновата в восстановлении крепостного права в Германии после гибели Наполеона. Россия заставила Пруссию подчиниться Австрии. Пруссия превращена была в русского вассала и прикована к России. Встречаются строки совершенно бесподобные: "Россия приказывала Пруссии и Австрии оставаться абсолютными монархиями — Пруссия и Австрия должны были повиноваться". Курьезность и противоречивость обвинений, видимо, не замечались Марксом. То он упрекает Россию, что она выдала Германию с головой Наполеону, то винит в победе над Наполеоном, вследствие которой Германия лишилась свобод, принесенных ей этим завоевателем. То он возмущается, что Россия подчинила Пруссию Австрии, то, наоборот, негодует, что Австрия отброшена Пруссией от всей Германии при поддержке России. Смешно подходить к этому маниакальному бреду с реальной исторической оценкой и критикой. Приведенный букет высказываний интересен как психологический документ. Россия должна провалиться в Тартар, либо быть раздроблена на множество осколков путем самоопределения ее национальностей. Против нее надо поднять европейскую войну, либо, если это не выйдет, — отгородить ее от Европы независимым польским государством. Эта политграмма сделалась важнейшим пунктом марксистского катехизиса, аттестатом на зрелость. Когда в 80-х и 90-х годах начали возникать в различных странах марксистские партии по образцу германской социал-демократической, они получали помазание в Берлине не раньше, чем давали доказательства своей русофобии. Прошли через это и русские марксисты. Уже народовольцы считали нужным, в целях снискания популярности и симпатий на Западе, "знакомить Европу со всем пагубным значением русского абсолютизма *для самой европейской цивилизации*". Лицам, проживавшим за границей, предписывалось выступать в этом духе на митингах, общественных собраниях, читать лекции о России и т. п. А потом, в программах наших крупнейших партий, эс-деков и эс-эров, появился пункт о необходимости свержения самодержавия в *интересах международной революции*. Ни Габсбурги, ни Гогенцоллерны не удостоились столь лестной оценки; их подданные-социалисты собирались свергать своих государей для блага Австрии и Германии. Только подданные Романовых приносили

царей на алтарь, прежде всего, *мировой революции*. Без укоренившегося влияния Маркса и немецких марксистов трудно объяснить включение этого пункта в программные документы.

После сказанного нет надобности объяснять вполне утилитарный характер любви Маркса к Польше. Разрабатывали ли Энгельс план похода революционных армий на Россию, он прежде всего взвешивал роль Польши как союзника; говорил ли Маркс о каком-нибудь из польских восстаний, он неизменно рассматривал его с точки зрения ущерба для России. Потому-то Марксу и безразлично было, кто двигает это национальное возрождение — социал-демократы или аристократы-помещики. Он всех брал под плащ революции. Самая скорбь его и Энгельса по поводу неудачи польского восстания 1863 года выглядит скорбью расчетливых людей. "Пройдет много времени, прежде чем Польша снова сможет подняться, даже при посторонней помощи, а между тем, *Польша нам совершенно необходима*".

"Необходима". В этом весь цинизм в отношении их к Польше. А что оно было беспредельно циничным, можно видеть из одного письма Маркса: "Один французский историк сказал: „il y a des peuples nécessaires“ — есть необходимые народы. К числу таких необходимых народов относится в XIX столетии, безусловно, народ польский". Зачисление его в ряд исторических и революционных произошло, следовательно, не в силу его природных качеств, а по соображениям чисто служебным. "Ни для кого иного национальное существование Польши не необходимо более, чем именно для нас, немцев".

В 1864 году в предварительном комитете по созыву конгресса будущего Интернационала Марксу удалось, наряду с вопросами общего характера (о труде, о капитале, о рабочем дне, о женском труде), включить в план работ конгресса совершенно частный вопрос о "необходимости уничтожить влияние русского деспотизма в Европе посредством приложения права народов располагать самими собою и посредством восстановления Польши на началах демократических и социальных". На конгрессе произошла по этому поводу дискуссия. Протокол гласит:

"Делегация французская высказывает мнение, что по этому вопросу не должно быть никакого голосования и что конгресс ограничится заявлением о том, что он противник

всякого деспотизма во всякой стране и что он не входит в разбор столь сложных вопросов, как национальные. Нужно желать и требовать свободы в России как и в Польше и отвергнуть старую политику, которая противопоставляет народы одни другим. Мнение большинства конгресса склонялось явственно к предложению французов. Тогда попросил слово г. Беккер. Он выразил сожаление, что конгресс не решает ничего по этому вопросу. Русская Империя служит постоянно угрозой против цивилизованных обществ Европы; Польша служила бы для нее преградой... Он прибавляет, что польский вопрос есть вопрос европейский, но который интересует Германию специально, так что его можно назвать в известном отношении немецким вопросом”.

Казалось бы, какие более откровенные свидетельства макиавеллистического отношения к полякам могут быть? Но они есть. Энгельс подарил нас еще одним документом такой красочности, что мимо него пройти никак невозможно. Известно, какие гимны пелись Польше в 1848 году, как бредили польским восстанием в ”Новой Рейнской газете”. Ждали ”чуда на Висле”. Но по прошествии одного-двух лет, когда чудо не появилось, гимны кончились, поляков перестали носить на руках. В 1851 году (31 мая) Энгельс пишет длинное письмо Марксу по польскому вопросу и тут обнажает с полным бесстыдством моральную подкладку своей ”революционной мысли”.

Он сообщает, что чем больше он размышляет об истории, тем яснее ему становится, что поляки – разложившаяся нация (*nation fondue*). *”Ими приходится пользоваться лишь как средством, и лишь до тех пор, пока сама Россия не переживет аграрной революции. С этого момента Польша теряет всякое право на существование”*. Выходит, что как только в самой России найдена будет разрушительная сила – гордого лебедя революции можно будет загнать в общеславянский курятник. Поражает в этом письме чисто национальное презрение, возникшее не под влиянием минуты, а выношенное, отстоявшееся. *”Никогда поляки не делали в истории ничего иного, кроме как играли в храбрую и задорную глупость”*. *”Бессмертна у поляков склонность к распрям без всякого повода”*. И, наконец, *”нельзя найти ни одного момента, когда бы Польша, хотя бы против России, с успехом явилась*

представительницей прогресса или вообще сделала бы что-либо, имеющее историческое значение. В противоположность ей Россия, действительно, олицетворяет прогресс по отношению к Востоку". Энгельс находит в России гораздо больше образовательных и индустриальных элементов, чем в "рыцарственно-бездельнической Польше". "Никогда Польша не умела ассимилировать в национальном смысле чужеродные элементы. Немцы в польских городах есть и остаются немцами. А как умеет Россия руссифицировать немцев и евреев, тому свидетельство — каждый русский немец уже во втором поколении". Он отмечает лоскутный характер бывшего польского государства. "Четверть Польши говорит по-литовски, четверть по-русински, небольшая часть на полурусском диалекте, что же касается собственно польской части, то она на добрую треть германизирована". Энгельс благодарит судьбу, что в "Новой Рейнской газете" они с Марксом не взяли на себя в отношении поляков никаких обязательств, "кроме неизбежного восстановления Польши с соответствующими границами". Но тут же добавляет: "лишь под условием аграрной революции в ней. А я уверен, что такая революция скорее вполне осуществится в России, чем в Польше".

Нет сомнения, что меньше чем за три года Маркс и Энгельс утратили надежду на антирусское восстание поляков и потеряли к ним всякий интерес. Это не значит, что отказались "посылать их в огонь", то есть подбивать на дальнейшие бунты против России, но радикального средства в этих бунтах уже не видели. Энгельс убежден, что "при ближайшей общей за-вирухе вся польская инсurreкция ограничится познанцами и галицийской шляхтой плюс немногие выходцы из Царства Польского, и что все претензии этих рыцарей, если они не будут поддержаны французами, итальянцами, скандинавами и т. п. и не будут усилены чехословенским мятежом, — потерпят крушение от ничтожества собственных усилий. Нация, которая в лучшем случае может выставить два-три десятка тысяч человек, не имеет права голоса наравне с другими. А много больше этого Польша, конечно, не выставит".

Маркс, хотя и не в столь ярких выражениях, соглашался с Энгельсом. Он поспешил отказаться от своей прежней готовности восстановления Польши в границах 1772 года, ибо рассудил, что немецкую Польшу, с городами, населенными

немцами, не следует отдавать народу, ”который доселе еще не дал доказательства своей способности выбраться из полуфеодалного быта, основанного на несвободе сельского населения”. Он и от Лассалья получил заверение в полном согласии с такой точкой зрения: ”прусскую Польшу следует рассматривать как германизованную и относиться к ней соответственно”.

В случае войны с Россией, Маркс готов компенсировать полякам потерю Познани щедрым присоединением земель на Востоке, обещает им Митаву, Ригу и надеется на их согласие ”выслушать разумное слово по отношению к западной границе”, после чего они поймут важность для них Риги и Митавы в сравнении с Данцигом и Эльбингом. Самые восстания польские мыслимы только против России. ”У меня был один польский эмиссар, — пишет он Энгельсу в 1861 году: — вторичного визита он мне не сделал, так как ему, конечно, не по вкусу пришлась та неприкрашенная правда, которую я преподнес относительно плохих шансов всякого революционного заговора в настоящий момент на прусской территории”.

Прекрасное резюме этому комплексу настроений дал Энгельс в цитированном выше письме, сделал набросок марксистской тактики в польском вопросе. ”На Западе отбирать у поляков все, что можно, оккупировать немецкими силами их крепости под предлогом защиты, в особенности Познань, оставить им занятие хозяйством, посылать их в огонь, слопать (ausfressen) их земли, кормя их видами на Ригу и Одессу, а в случае, если можно будет вовлечь в движение русских, — соединиться с этими последними и заставить поляков примириться с этим”. Под ”русскими” разумеется, в данном случае, не царская, а революционная Россия.

* * *

Итак, поляки лишь ”сгоряча” и по тактическим соображениям причислены были к ”историческим” народам. Под конец жизни, интерес Маркса к полякам пропал, уступив место восторгу перед народовольцами-террористами.

Именно перед народовольцами, а не перед чернопердельцами, из которых вышли потом последователи Маркса

в России. Их он не жаловал за то, что "эти господа стоят против всякой революционно-политической деятельности", тогда как он приветствовал и всячески ласкал террористов. Вот что рассказывает Эдуард Бернштейн о приеме, оказанном Марксом народовольцу Гартману. Молодой в то время, Бернштейн был уже почитателем Маркса и тоже был им принят довольно ласково. "Однако же, — говорит он, — при наших беседах всегда сохранялось между нами известное "расстояние". Совсем иначе стояло дело между Марксом и Львом Гартманом, явившимся в Лондон летом 1880 года. Я был просто поражен, видя, как этот великий мыслитель, а также Энгельс, обращаются совсем по-братски, на ты, с молодым человеком, который производил на меня впечатление умственной посредственности и бесцветности". "По-видимому, — заключает Бернштейн, — их дружеское расположение к нему вызывалось исключительно его участием в террористическом предприятии".

Известно, что Маркс презрительно отзывался о возможности революции в России. В ней "может быть только тот или иной бунт, причем достанется немецким платьям, а революции никакой и никогда не будет". Так говорил он в 1863 году. Он искренне удивлялся своей популярности в этой стране; нигде его так не чтут и не издают, как в России, которую он усердно оплевывал, революционных деятелей которой глубоко презирал и чуть не поголовно считал царскими агентами. И вот этот человек в конце 1881 года провозглашает: "Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе". Совершенно очевидно — не рост промышленности, не рост пролетариата, не "идейная зрелость", которых еще не было, даже не крестьянские волнения подвигли его на такое заявление, а убийство Александра II, шумная деятельность кучки террористов. Он приходил в восторг от того, что им удалось превратить нового царя в гатчинского военнопленного революции.

Разумеется, не благо русского народа, даже не судьбы русской революции занимали его, а уничтожение самодержавия, представлявшегося ему тормозом европейской революции. Не сумели его уничтожить поляки — прочь поляков, да здравствуют Желябовы и Перовские!

Но после всего сказанного о поляках ни минуты не

верится в искреннюю "революционную" симпатию его к Желябовым и Перовским. Он их ценил как роботов революции, но ненавидел как русских.

Рискуя загроздить изложение иллюстрациями, не могу не привести рассказ Герцена. В Лондоне, в Сент-Мартинс Холле, 27 февраля 1855 года состоялся митинг в воспоминание о 24 февраля 1848 года, на который приглашен был в качестве оратора и Герцен. Избран он был также членом международного комитета. После этого получено было письмо от какого-то немца, протестовавшего против его избрания. Немец писал, что Герцен известный панславист и требовал завоевания Вены, которую называл славянской столицей. "Это письмо, — говорит Герцен, — было только авангардным рекогносцированием. В следующее заседание комитета Маркс объявил, что он считает мой выбор несовместным с целью комитета и предлагал выбор уничтожить. Джонс заметил, что это не так легко, как он думает; что комитет, избравши лицо, которое вовсе не заявляло желания быть членом, и сообщивши ему официальное избрание, не может изменить решение по желанию одного члена; что пусть Маркс формулирует свои обвинения и он их предлсжит теперь же на обсуждение комитета. На это Маркс сказал, что он меня лично не знает, что он не имеет никакого частного обвинения, *но находит достаточным, что я русский и притом русский, который во всем, что писал, поддерживает Россию*; что, наконец, если комитет не исключит меня, то он, Маркс, со всеми своими будет принужден выйти". Большинство высказалось за Герцена, Маркс остался в ничтожном меньшинстве — встал и покинул комитет. Это была одна из многих выходов против русских, предпринятых единственно на том основании, что они — русские. Бакунина, Герцена и многих других революционеров-эмигрантов Маркс считал платными агентами царского правительства. Народническое движение в России рассматривал как "панславистскую партию, состоящую на службе у царизма".

Пусть найдутся люди, способные доказать, что выраженная здесь русофобия объясняется революционной психологией, а не расовой ненавистью.

В наши дни, когда "расовая дискриминация" — почти уголовное преступление, любой коммунист, сказавший на

эту тему хоть сотую долю того, что сказали авторы "Коммунистического Манифеста", не мог бы оставаться в партии ни минуты, они же — худым словом не помянуты и пребывают по сей день в роли вождей и учителей.

Одиум всего здесь отмеченного — не в нацистском облике коммунистических апостолов, а во "всемирном молчании", созданном вокруг этого облика. Никого почему-то не коробило и не коробит их рассуждение в "Новой Рейнской Газете" о "братстве европейских народов", которое "достигается не посредством фраз и благочестивых пожеланий, а путем решительных революций и кровавой борьбы; дело идет тут *не о братстве всех европейских народов* под сенью одного республиканского знамени, но о союзе революционных народов против контрреволюционеров, о союзе, который осуществится не на бумаге, а на поле битвы".

Не напоминает ли эта бредовая мысль о Священной Социалистической Империи Германской Нации, в которую не внидет ни один народ-унтерменш, знакомый нам образ Третьего Рейха?

За несколько последних десятилетий корабль марксизма подвергся жестокому обстрелу и зияет пробоинами; самые заветные его скрижали ставятся, одна за другой, на одну полку с сочинениями утопистов. Позорная же шовинистическая страница, о которой идет речь в этой статье, — все еще остается неведомой подавляющему числу последователей и противников Маркса. Начинают, однако, появляться разоблачительные работы, вроде книги Бертрама Вульфа. Не далек день, когда последние лоскутья тоги сорваны будут с проповедников зла и великая ложь марксизма обнажена будет в полной мере.

БОЛЬШЕВИЗМ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Жорж Дюамель — крупнейший писатель, член Французской Академии — выступил на страницах "Фигаро" с ярким протестом против законопроекта, прошедшего в Палате Депутатов как-то незаметно, "под шумок", и взволновавшего французскую интеллигенцию. Речь идет о допущении в провинциальных начальных школах преподавания на местных диалектах, на "патуа".

Со времен Гердера, в защиту местных наречий написано столько книг и статей, что как-то неприлично возражать против их узаконения. Однако, все просвещенные поборники этой идеи, вроде нашего Драгоманова, с давних пор выдвигали одно условие. Они приветствовали узаконение диалектов лишь в том случае, если это не угрожает исторически сложившемуся государственному целому и если не отрывает массы людей от высокоразвитого литературного языка и более высокого культурного комплекса, способствуя его ослаблению и гибели. Не таись во французском законопроекте этой опасности, вряд ли бы он вызвал такое беспокойство.

Но Дюамель ярко и убедительно, со ссылками на факты показал, что в данном случае гердеровская романтика совершенно сознательно поставлена на службу разрушения государства и культурных устоев. Он обратил внимание на то, что и законопроект о языках, и все прочие акции, рассчитанные на пробуждение национальных чувств у мелких народов Франции, исходят не от самих этих народов. Когда в 1942 году, во время оккупации, германская агентура подняла вопрос об издании грамматик и словарей областных диалектов, то не только правительство Виши не придало этому значения, но и со стороны окраинных народностей не раздалось ни одного голоса в пользу такого мероприятия. Проект закона о диалектах исходил из других сфер. Внесен он представителями коммунистов и близких к ним групп.

Вот кто работает над разжиганием национальных страстей, и кто радеет о "порабощенных" народах больше, чем сами эти народы.

Никому, как нам, русским, так не понятен до последних тонкостей смысл этой подрывной работы. Ведь так разрушали Россию, ведь так вбивали клинья между тремя ветвями русского народа. И никому, пожалуй, кроме нас, так осязательно, так воочию не ясно, каким мощным орудием является национальная политика в руках коммунистов. Начался откровенный поход против крупнейших европейских государств, против культурных мировых языков и литератур. Ведется подкоп под высшие ценности. Пока разваливали какую-то там "полуварварскую" Россию — "тюрьму народов", "оплот реакции", это не бросалось в глаза, но когда очередь дошла до Франции — всякому должно стать ясно, что гибель подобных государств — величайшее всемирно-историческое бедствие и подлинный закат европейской культуры.

* * *

Великие стратеги политической борьбы, большевики, превосходно знают суворовское правило — брать врага с его слабой стороны. А слабой стороной демократической Европы в национальном вопросе является — власть старой либеральной идеологии и популярных, с детства усвоенных лозунгов. Кто сейчас способен открыто возражать против "права наций на самоопределение"? Кто не рискует заслужить кличку "реакционера" за противодействие любому мероприятию, направленному к осуществлению этого лозунга? Жорж Дюамель, конечно, не спасет Францию, если ограничится возражением против одного только закона о диалектах, и не ополчится на всю доктрину так называемого современного "национально-освободительного" движения, если не решится на полную революцию в этом вопросе.

"Реакцию, хотите вы сказать?" — заметит нам не без колкости какой-нибудь неусыпный страж демократии. Давно пора поговорить об этом термине, без которого никак не можем обойтись, но который, чем дальше, тем больше употребляем всуе. "Определяйте значение слов и вы избавите свет

от половины его заблуждений”, – говорил Декарт.

В понятие реакции, реакционности вкладывается ведь не простое ретроградство, – возврат к прошлому; главное в нем – покушение на свободу. Реакционно то, что ведет к такому порядку, при котором и личность, и общество подавлены. Когда-то это совпадало с возвратом к прошлому. Но мы дожили до времен такой несвободы, перед которой все прежние ”реакции” выглядят веком Перикла. Восстановление французского владычества в Индо-Китае и английского в Индии – реакция. Но как назвать коммунистический режим, угрожающий этим странам? При французах и англичанах туземцы не дрожали за свою жизнь, свободу и собственность, не было никакой насильственной ломки исторически сложившихся социальных отношений, обычаев, культов и всей духовной жизни. При англичанах возможны были даже Ганди и Неру, демонстрации, митинги, легальные формы борьбы. Под английской тиранией Индия дала миру Рабиндраната Тагора – явление немислимое при большевиках, не допускающих никого кроме Фадеевых и Панферовых. С какой завистью смотрят сейчас подсоветские люди на такой ”колониальный” режим!

Но легко представить, что произойдет к югу от Гималаев, когда там победит коммунизм. В этом случае страна Ганди могла бы считать себя счастливой, если бы отделалась только заменой культа коровы – культом Сталина. Ей, родине кастовых различий, суждено будет пройти через ”три разлуки” и ”три разорения”, через такую ”культурную революцию”, перед которой резня мусульман с индусами покажется детской забавой.

А ведь для Индии, Бирмы, Малакки, Индокитая – коммунизм не отдаленная угроза, а непосредственно нависшая опасность. Если бы Кремль не имел видов на ”страну чудес”, так не тратил бы столько средств и энергии для ее ”освобождения”. Только людям, безнадежно погрязшим в политических схемах прошлого, неясно, что так называемое освобождение зависимых народов представляет благодатный дождь для процветания тоталитарных режимов. Благодаря ему подготовляются легко поглощаемые и легко усваиваемые куски.

Много ли было в свое время поклонников у Габсбургской

Империи — одного из самых несимпатичных государств, и многие ли пожалели, когда оно рухнуло? А ведь приходится же и о нем пожалеть. Уцелей оно в прежнем составе, Гитлер никогда не смог бы столь безмерно усилиться за счет "освободившихся" народов дунайской монархии, шедших к нему в пасть с покорностью кроликов. Не навис бы и Сталин тяжелой глыбой над Европой, не будь для него эти же самые народы легкой добычей. Неспособные защищать свою независимость, попадающие из огня в полымя, они болтаются в ногах у борющихся гигантов, осложняют и искажают политический смысл борьбы и, в конечном итоге, оказываются пристроенными на службу антидемократическим силам.

Но есть и другая сторона их стремления к независимости; она роковым образом отражается на силе и устойчивости великих демократических государств. Сколь бы ни были ослаблены Англия и Франция, они все еще представляют самые сильные препятствия для большевизма в Европе на пути его к мировому владычеству. Если Сталину не удастся проглотить Индию, Индокитай, Египет, Алжир, Марокко, если эти страны, освободившись, останутся независимыми, — все равно он окажется в огромных барышах, потому что их отпадение подрывает мощь его врагов — европейских централизованных государств. Миру сейчас далеко не безразлично, останутся ли Франция и Англия целыми или на их месте образуется конгломерат мелких государств, связанных между собой только "пактами", "дружбами", "свободными союзами".

Задача всех прогрессивных и подлинно демократических элементов в наши дни — найти разрешение национального вопроса в рамках существующих централизованных государств и империй.

В момент, когда на исторической сцене свирепствует чудовище, открыто делающее ставку на "раскрепощение" колониально зависимых стран, всякое движение, направленное на отделение этих стран от метрополии, есть движение реакционное. Не свободу, но рабство и гибель несет оно, гибель не только своему народу, но всему миру.

Что же касается сепаратизма европейских народов, таких, как провансальцы, бретонцы, баски, каталонцы и прочие, то о нем надлежит сказать особо.

Жребий этих народов, поистине, ужасен. Хотя никакой

колониальной эксплуатации они не подвергаются, пользуются всеми правами граждан тех государств, в которых живут, не стеснены в национальных обычаях, имеют полную возможность развивать собственную литературу, но их горькая судьбина заключается в том, что они не имеют своих посланников при иностранных дворах, не заседают в международных ассамблеях и не могут устраивать парадов войск в своих столицах. Это, конечно, достаточно веские причины, чтобы, невзирая ни на какие коммунистические опасности, ни на какие угрозы всеобщей гибели, бодро работать над развалом последних оплотов европейской культуры и в этой достойной работе пользоваться содействием коммунистов.

Не пора ли эти сепаратизмы объявить преступными?

Нас безусловно спросят: ну, а сепаратизм подсоветских народов (не сателлитов), стремящийся к разрушению большевистской империи, неужели он тоже преступен и реакционен? Знаем, что безнадежно губим себя в глазах людей, познавших истину в 1917 году и с тех пор ни на шаг от нее не отступающих. Знаем, каким громам и тяжким обвинениям в "единонеделимстве" (страшнее этого ничего не существует), подставляем свою голову. И все же скажем: да, преступен. Потому преступен, что никаким самостоятельным путем большевистскую империю уничтожить нельзя, но можно спасти, усилить и укрепить.

На вечере "Социалистического Вестника" в Нью-Йорке польский социалист Шумский заявил, что "победа демократии может быть только одновременной во всей Восточной Европе. Если ее не будет в Москве, ее не будет ни в Варшаве, ни в Праге". Шумский, конечно, приятное исключение и своей замечательной мыслью обязан долгому пребыванию в советских концлагерях. Не имевшие этой счастливой возможности до сих пор туги на понимание и продолжают твердить о русском империализме, о "пшеклентых москалях". Но так или иначе, если Шумский прав, а мы думаем, что он действительно прав, — его устами вынесен обвинительный приговор всем российским сепаратизмам.

Что бы ни говорили люди, безгранично уверовавшие во внутреннюю "национальную революцию" как единственный путь свержения советского режима, надежды на такой переворот, по нашему мнению, не велики. С каждым днем

становится яснее, что освобождение России связано с великими мировыми событиями, к которым идут и к которым готовятся оба полушария. На это же возлагают свои чаяния и сепаратисты. Свою миссию разрушителей большевизма они намерены выполнять в третьей мировой войне. В аспекте войны надлежит и оценивать их как антибольшевистскую силу.

* * *

Видные наши публицисты, вроде Г. П. Федотова, полагают, что поражение СССР неизбежно. В этом убеждает необычайная военно-техническая мощь США — главного противника Советов, равно как все еще значительная сила таких стран, как Англия. Но...

Какой-то военный авторитет любил повторять: "о всякой войне ничего неизвестно, кроме полной неизвестности ее исхода". У всех свежа память о чуде, когда весь мир считал последние минуты СССР и, вопреки неопровержимым расчетам, СССР не только уцелел, но и сокрушил самую совершенную в мировой истории военную машину.

Опыт всех великих походов вглубь России показывает, что наше отечество — одна из самых трудно завоевываемых стран. Правда, каждый новый завоеватель думал, что предыдущие походы не удались вследствие несовершенства военных средств. Вильгельм II, готовившийся к войне с чисто немецкой предусмотрительностью, полагал, что именно ему удастся то, что не удалось Карлу XII и Наполеону. Еще больше уверен был в неотразимости своего "Барбароссы" Гитлер. Но весьма возможно, что и его неудача не подорвала веры во всемогущество техники и не заставила задуматься над вопросом: почему и у него, и у Наполеона, и у Карла XII, при всех их тонких, иной раз математических расчетах, неизбежно что-то срывалось? К причине этих срывов ближе всех подошел Наполеон, заявивши: "На войне нравственный элемент стоит втрое больше видимой действительности". Какими бы чудовищными средствами и изобретениями ни располагали современные армии — "нравственный элемент", то есть роль духа продолжает в наши дни оставаться решающей силой. Вот почему страшно становится, когда к величайшей

в истории битве, от которой будут зависеть судьбы цивилизации, судьбы всего мира — готовятся по старой традиции, основываясь на подсчете числа дивизий, пушек, танков, аэропланов, атомных бомб, но не стремятся получить в свой арсенал "нравственный элемент", которому в предстоящей войне суждено сыграть такую же роль, какую он сыграл в войне минувшей. Страны Атлантического Пакта бедны этим оружием. Пацифистская пропаганда, общее утомление от войны, беспримерная деятельность коммунистических пятых колонн подорвали дух Западного мира. Это ясно уже сейчас. Компенсировать болезнь собственного духа можно только болезнью духа противника. Заставить неприятельскую армию или вовсе не сражаться, как это было в первый период войны 1941 года, или сражаться плохо, спустя рукава. Для этого мало одной пропаганды, нужна еще дальновидная политика, не лживая, как у Гитлера и Розенберга, а совершенно искренняя, способная внушить доверие. И незачем ломать над нею голову, она ясна и давно осознана всеми подлинно антибольшевистскими элементами: *вести войну не против народа, а против власти, против системы, против коммунизма*. В этом залог победы. Сколь простой, разумной и естественной ни казалась бы эта мысль, она далеко не так успешно проникает в головы американских и английских государственных деятелей, тем более, военных. Русской эмиграции предстоит большая и трудная миссия внедрить ее в сознание всего мира.

* * *

Но ее внедряют и самостийники. Они тоже призывают атлантические страны привлечь на свою сторону, в качестве союзников, народы России, но... не все, вернее, все, кроме одного. Они также убеждают воевать против власти, а не против народов, но из этих народов исключают, опять-таки, один, который отождествляют с большевистской властью и на борьбу с которым призывают весь мир. Этот народ, численно превосходящий все остальные народы СССР, вместе взятые, должен быть, по их мнению, разбит и, если не совсем уничтожен, то по крайней мере — предельно ослаблен. Их вождения в отношении его совпадают с неосуществленными планами

германских нацистов. Один из галичан откровенно выразил это на страницах журнала "Slovo Pelske", заявив, что этот народ нужно "загнать куда-нибудь за Урал и вообще в Азию, откуда эти приятели прибыли на несчастье человеческого рода". Надо ли пояснять, что речь идет о русском народе?

У того же автора находим исключительные по яркости строки, выражающие точку зрения всего сепаратистского лагеря на русскую проблему. "Когда говорят – антибольшевистский блок угнетенных народов, – пишет он, – то мыслят блок антирусский. Не в большевизме суть, она лежит в чем-то другом, а именно, в опасном русском империализме, который извечно угрожал нашим народам. И поэтому наша борьба должна направляться не только против большевизма, но против всякой империалистической России – России большевистской и царской, России фашистской и демократической, России панрусистской и панславистской, России буржуазной и пролетарской, России верующей и неверующей, России – покровительницы православия, ислама, последователей Моисея, России – защитницы угнетенных и колониальных народов, России мессианской и России – защитницы мирового пролетариата, России Милюкова и России Власова, вообще против России, которая уже сама по себе является синонимом империализма".

Сепаратистская пресса на все лады развивает эту мысль, проводя знак равенства между руссизмом и большевизмом, считая этот последний порождением русского духа. Знакомая и близкая западно-европейскому пониманию эта мысль начинает разделяться и некоторыми русскими. Так, Г. П. Федотов находит "нечто в традициях Великороссии, что питало большевизм в большей мере, чем остальная почва Империи". В результате парижская газета "Украинец-Час" (№ 184) прямо предлагает западным державам перестать твердить о каком-то коммунизме, а называть врага его истинным именем – российским империализмом. В этом смысле пишутся письма и меморандумы государственным деятелям Запада, обрабатывается общественное мнение Европы и Америки, намечаются созывать какой-то "парламент поневоленых народів", словом все делается для того, чтобы, по словам самостийнического "Казачьего Единства", "убедить вершителей судеб антисоветского оборонительного блока принять в "русском вопросе" именно нашу точку зрения".

Перед нами — два ясно выраженных варианта будущей войны. Первый: со всеми без исключения народами СССР против советской власти, против большевизма. И второй: со всеми малыми народами СССР против русского народа и большевизма.

Который сулит победу и который поражение?

Сейчас самостийническая печать трубит о полной готовности малых народов восстать против Москвы. Мы и сами знаем, что против сталинской диктатуры они готовы восстать при первом благоприятном случае. Но можно ли ручаться за их готовность с таким же воодушевлением резать русский народ? Что бы ни говорили сепаратисты и их русские друзья и покровители в Америке — в СССР антагонизм между народами неизмеримо слабее, чем в некоторых европейских странах, и жестоко ошибется тот, кто будет судить о нем по задорно-крикливому поведению эмигрантских групп. Особенно трудно поднять на такую резню украинцев и белоруссов — родных братьев великоруссов по крови, по вере, по культуре, по историческим традициям. Чего только не предпринято было в период гитлеровской оккупации для натравливания украинцев на русских. Даже позволено было в центре Киева стрелять в людей, не желавших "розмовлять по вкраїнски". И каковы результаты? Об этом лучше всего спросить русских, бежавших в свое время из немецкого плена и прошедших сотни верст по Украине. Их там так же кормили, обували и укрывали от немецких преследований, как своих собственных сыновей. Простой народ на всем пространстве оккупированной территории от Финского залива до Азовского моря — принял на свое содержание сотни тысяч, если не миллионы беглецов, невзирая ни на какие национальные различия.

Годы нечеловеческих страданий под советской властью, страшные годы войны — притупили национальную рознь, но необычайно усилили сердечные связи между народами СССР.

Смеем думать также, что подсоветские народы не столь уж одержимы идеей национальной "независимости", как это можно подумать при чтении сепаратистских газет и "Грядущей России". Ведь подсоветский человек, лишенный элементарных прав, элементарной законности, лишенный зачастую

простых общечеловеческих прав, низведенный до звериного существования, мечтает не столько о национальном величии, сколько об обретении этих прав, об обретении человеческого образа. Он гораздо скорее откликнется не на национальные лозунги, а на лозунги гражданских свобод и права. Прибавим к сказанному, что ставка Розенберга на самостийничество в минувшей войне потерпела неудачу.

* * *

Зато в огне той же второй мировой войны родилась идея: "Россию можно победить только Россией же". Эта резолюция фельдмаршала Браухича, считавшего "формирование русской армии для борьбы против большевиков делом неотложной необходимости", -- так и не была фактически претворена в жизнь благодаря Гитлеру и Розенбергу, но она завещана -- третьей мировой войне.

И горе тому, кто, поддавшись сепаратистским наплевательствам и наговорам, пренебрежет этим опытом и пойдет по стопам Розенберга. Он будет иметь двадцатимиллионного врага, дерущегося не на жизнь, а на смерть. Что русские вынуждены будут драться именно так, в этом нет сомнений. Один лозунг расчленения России способен сделать их непримиримыми, не в силу, якобы, врожденных империалистических качеств, не для удержания давно не существующего национального господства над малыми народами, а из простого чувства самосохранения. Писатели типа Г. П. Федотова, с такой литературной грацией благословляющие раздел России, не желают знать, что он грозит гибелью не только империи, но и русскому народу. В силу исторических условий и особых методов освоения окраины, огромные массы русского люда давно уже вышли за пределы старого Московского Царства и разлились по необъятным просторам шестой части земного шара. Это не горсточка бельгийцев в Конго или голландцев в Индонезии, это огромные массивы, зачастую превышающие численно тот народ, в землях которого они осели. В общей сложности, это, быть может, добрая половина всего русского народа. И эта половина окажется вдруг "за границей", на положении

жестоко преследуемых людей. Это только мы, русские, в каждой своей политической платформе обеспечиваем национальным меньшинствам национально-культурную автономию, но ни одна еще сепаратистская группа не сделала подобного заявления в отношении русского народа. Можно ли, например, представить себе, чтобы русский язык, русская печать и русские школы были допущены в будущей "незалежной Украине" независимо от того, будет ли она бандеровская или григорьевская? Самая мысль об этом смешна. Русские поставлены перед необходимостью обашкириваться, отатариваться, украинизироваться и т. д. Наш народ поэтому вынужден либо найти достойное для всех народов разрешение национального вопроса в рамках общего государства, либо, если это встречает саботаж и этому противопоставляется идея раздела России — грудью встать на защиту собственного существования.

* * *

В случае торжества сепаратистского варианта войны, произойдет то, чего так хочется сейчас самостийникам — сплочение большевизма с русским народом. Повидимому Кремль уже сейчас работает над тем, чтобы осуществился именно такой сепаратистский вариант войны. Чем же объяснить иначе его необыкновенное заигрывание с русским народом? Давно ли русское происхождение считалось в СССР самым невыгодным, а иногда и опасным? Давно ли "великодержавный шовинизм" карался так, как не карался ни один прочий "национальный уклон"? А теперь всему русскому дан необыкновенный ход. Если в годы Второй мировой войны амнистировали и снова вознесли Суворова, Кутузова, Александра Невского, воскресили старые патриотические святыни и традиции, то сейчас искусственно насаждают никогда не виданный на Руси джингоизм, прививают дикие формы шовинизма, не снившиеся самому мрачному черносотенству. Неужели грузины Сталин и Берия, армянин Микоян, поляк Вышинский и еврей Каганович сделались русскими шовинистами? Объяснение этому явлению может быть только одно: надо запятнать русский народ своими поцелуями, надо в обнимку с ним предстать перед миром, убедить этот мир в том, что больше-

визм и руссизм – одно и то же; убедить настолько, чтобы ненависть к коммунизму слилась с ненавистью к русскому народу. Надо, чтобы грядущая война приобрела национальную окраску, чтобы русский народ поставлен был перед необходимостью защищаться. Только в этом и ни в чем другом смысл теперешнего русофильства большевиков. Сепаратистская активность в эмиграции оказывает ему важную услугу. Современный "национализм" несет миру небывалую тиранию и новое средневековье.

IV

РОКОВЫЕ ВОЙНЫ РОССИИ

В знаменитом сочинении "О праве войны и мира" Гуго Гроций делит войны на справедливые и несправедливые.

Это едва ли не первая попытка разобраться в природе страшного явления. Сейчас она забыта и оставлена.

Война признана "уделом человечества", его вечной спутницей и в ней усмотрено нечто мистическое. В древности эту мистику чувствовали острее, чем в наши дни. Китайский трактат Сун-Цзы, написанный две с половиной тысячи лет тому назад, начинается словами: "Война это великое дело для государства, это путь жизни и смерти, это путь существования и гибели".

Деятнадцатый и двадцатый века с их неслыханными катастрофами обострили внимание к роковому явлению и "путь существования и гибели" приходится ныне усматривать не в справедливости и несправедливости войн, а в их разумности и неразумности.

В истории новой Европы наблюдается две великих страны, противоположные друг другу по характеру их войн: Англия, редко начинавшая войны без соображения их целесообразности и надобности для государства, и Россия, вступающая в войны без особых размышлений.

Ни в киевские, ни в московские времена Русь не страдала таким легкомыслием. Не видим его и в войнах Петра Великого. Были у него просчеты и неудачи чисто военного характера. На Пруте он в 1711 году чуть не попал в плен к туркам, но в замыслах своих походов руководствовался целями, продиктованными нуждами государства.

Совсем другой стиль начался после его смерти.

В царствование его племянницы Анны Иоанновны, в Крыму и под турецкими крепостями уложено до 100 тысяч русских солдат, истрачены миллионы рублей, а мирный договор был таков, что согласно ему, России запрещалось иметь

военные и торговые суда на Черном море. Азов хоть и уступлен был России, но без укреплений. Они должны были быть скрыты. Даже императорский титул русской царицы не был признан Турцией.

”Россия не раз заключала тяжелые мирные договоры, — говорит В. О. Ключевский, — но такого постыдно-смешного договора, как белградский 1739 года, ей заключать еще не доводилось”. Оно и не удивительно. Мир заключали не русские дипломаты, даже не состоявшие на русской службе, а поручено это было Вильневу — французскому послу в Константинополе — явному врагу России. За оказанные им услуги он получил вексель в 15 тысяч таллеров и Андреевский орден, а его сожительница — бриллиантовый перстень.

Не лучше была внешняя политика императрицы Елизаветы Петровны — дочери Петра Великого. Стараниями французской и австрийской дипломатии ее втянули в Семилетнюю войну, совершенно нам не нужную и не касающуюся России. Русские войска под Кунерсдорфом нанесли Фридриху Второму сокрушительное поражение, но кроме потери нескольких тысяч солдат и огромных расходов, никакой выгоды для России не было. Да никаких выгод и не искали. То был как бы русский подарок Австрии.

По словам графа Кауница, тогдашнего канцлера австрийской империи, ”политика России истекает не из действительных ее интересов, а зависит от индивидуального расположения отдельных лиц”. В этом и заключался новый стиль русской внешней политики и войн в послепетровские времена. Сегодня приходило на ум послать армию в Пруссию против Фридриха Второго, завтра в Италию для изгнания оттуда французов, а послезавтра приказ: ”Донскому и Уральскому казачьим войскам собираться в полки, идти в Индию и завоевать оную”. На что нам Индия, никто не знал. Знал только Первый консул Франции Наполеон Бонапарт — вдохновитель Павла Первого. Чем-то покорила он сердце русского царя и нашел в нем поклонника своего плана сокрушения Англии, с которой боролся и которую никак не мог уязвить по причине ее островного положения. Уязвимое место усмотрел в английских колониях — в Индии. На нее и убедил Павла направить своих казаков. Сам Павел, чуть не на другой же день задушен был собственными приближенными. Индия не

пострадала. Но приказ его навсегда останется свидетельством одной из роковых болезней старой русской государственности.

Огромная страна шла на поводу у чужой дипломатии, становилась жертвой родственных и дружеских связей царской фамилии с иностранными дворами и навеянных извне политических фантазмагорий.

В своем положении неофита, Россия не имела никаких специальных интересов на Западе, и до наступления культурной и экономической зрелости ей надлежало не вмешиваться в ненужные европейские распри. Но вопреки всему, она как раз усердствовала в этом направлении.

Похоже, что весь одиум безумного приказа о завоевании Индии Павел Первый передал своим старшим сыновьям, царствовавшим после него – Александру и Николаю. Оба вошли в историю кровопролитными, но ненужными для страны войнами.

Вместо накапливания хозяйственных и культурных сил, совершенствования армии, ослабления внутренних противоречий, проведения давно назревших реформ – они безрассудно расходовали энергию империи на разорительные, ничем не оправданные войны.

Безусловно спросят: "Как?.. И Александр Первый, с именем которого связана эпопея борьбы с Наполеоном?". Да, и он. Эпитет "благословенный" и столетняя патриотическая легенда, окружавшая его имя, затруднили исторической науке работу по реставрации подлинного облика этого царя.

Самая ненужная, самая кровопролитная, самая разорительная для России из войн XIX века была именно война его с Наполеоном. Ее называли отечественной, "народной". Это верно лишь в том смысле, что народ вынес ее на своих плечах и освятил своей кровью в боях и походах. Но по замыслу, по ненужности, по пренебрежению к национальным интересам, эта война – одна из самых неоправданных.

Говорю "война", хотя это были две, если не три войны, но до того тесно связанных между собой и разделенных такими короткими интервалами, что их можно считать за одну.

Все мыслящие русские люди были охвачены тревогой, когда в 1805 году она началась. "Никогда не забуду своих горестных предчувствий, – писал впоследствии Н. М. Карамзин, – когда я, страдая в тяжелой болезни, услышал о походе нашего войска...

Россия привела в движение все свои силы, чтобы помогать Англии и Вене, то есть служить им орудием в их злобе на Францию, без всякой особенной для себя выгоды”.

Россия в начале XIX века стояла в стороне от потрясавших Европу страстей и событий. Они ее не касались. При наличии ясной политической линии ей не трудно было бы уклониться от всякого вмешательства в тогдашние распри. Конечно, антинаполеоновская коалиция, особенно англичане, всячески обхаживали ее в своих целях, но никто не в силах был бы принудить ее вступить в эту коалицию, не будь у нее самой такого желания. Оставшись зрительницей всего происходящего, она сэкономила бы силы для внутреннего своего развития. Это тем более, что волнения тогдашней Европы не имели к ней никакого касательства. Тем не менее, оказалось, что Император Александр I не только жаждал такого вмешательства, но горел желанием сыграть роль в Европе.

Ужасные войны, наполняющие его царствование, коренились в личности этого самодержца, в завладевшей им страсти. В жертву ей принесены были сотни тысяч жизней, восемь разоренных губерний и сожженная столица государства.

* * *

Наполеон в это время был императором, готовился ко вторжению в Англию через Ла-Манш и ни о каком походе в Россию не думал. Россия сама по себе не нужна была ему. Сиди она смиренно — никто бы ее пальцем не тронул. Но русскому императору не сиделось смиренно. Он ищет предлога к открытому разрыву мирных отношений с Францией.

В 1804 году происходит расстрел во рву Венсенского замка одного из членов низложенной династии Бурбонов — герцога Энгиенского, схваченного на территории Бадена. Монархическая Европа возмущена. Но больше всех возмущался и громче всех протестовал Александр. Он выслал из Петербурга французского посла Эдувиля и отправил ноту Наполеону, обвиняя его в нарушении неприкосновенности баденской территории. Какое ему было дело до баденской территории и почему именно он счел себя вправе выступить защитником ее чести?

Искал предлога для ссоры?

Сейчас, больше чем через полтора года, не всякому понятно это желание. Не ничтожный же герцог Энгийенский был тому причиной и не русские помещики, заинтересованные, будто бы, в сбыте на английском рынке продуктов сельского хозяйства, как об этом ныне думают марксисты.

Вражда его к Наполеону — явление исключительное, почти единственное в истории. Она встречается, разве что, в шекспировских драмах. Это нечто вроде соперничества Туллы Ауфидия с Кориоланом или принца Генриха с сэром Перси Хотспер.

Двум звездам не блистать в одной орбите,
И принц Уэльский вместе с Гарри Перси
Не могут властвовать в одной стране.

Александр Павлович был человеком непомерного тщеславия. Смолоду завидовал славе Наполеона и втайне мечтал затмить ее своей собственной славой.

”Наполеон или я, я или он, но вместе мы не можем царствовать”.

Сестре своей Марии Павловне говорил: ”Рано или поздно один из нас должен уйти”.

Всем известно, чем кончилась война 1804 года. Русско-австрийские войска потерпели полный разгром под Аустерлицем. Русские разбиты были также под Фридрихсдорфом. Австрия и Пруссия капитулировали. Александр остался один и должен был мириться с соперником на условиях достаточно унижительных. Наполеон стал владыкой Европы. Проучив Александра, он превратил его союзников Пруссию и Австрию в своих покорных вассалов, дрожавших перед грозным победителем, как куры перед ястребом.

Александру пришлось смирить свой воинский пыл. Но и после этого он дал столько доказательств вражды к Наполеону и зародил в нем столько сомнений в своей лояльности, что французский император решил предупредить опасность с этой стороны путем сокрушения, раз навсегда, северного колосса. Началось знаменитое нашествие его на Москву.

Могло ли оно быть предотвращено? Все ли было сделано для этого императором Александром? Вторжения, конечно,

могло не быть, не восстанавливай Александр корсиканца своим поведением и не вызывай у него подозрений.

Здесь нет необходимости описывать эту войну, столь хорошо всем известную. Гораздо больший интерес для нашей темы представляет ее финал.

В старых учебниках истории гибель Великой Армии рассматривалась, обычно, как сигнал для восстания всей покоренной Наполеоном Европы. Пруссия, Австрия, все многочисленные княжества и земли, будто бы, поднялись против своего поработителя. Это сплошная легенда.

Ни Пруссия, ни Австрия пальцем не пошевелили. Гипноз имени Наполеона был таков, что никто не дерзнул поднять оружие на корсиканского льва, даже смертельно раненого. Три месяца понадобилось императору Александру, чтобы уговорить прусского короля подняться ради собственного освобождения. Хитрую же Австрию удалось привлечь к союзу только через семь с половиной месяцев. Уламывая тех и других, Александр вынужден был приносить им всевозможные жертвы. Европа не решалась на освободительную войну. Даже Англия – заклятый враг Наполеона настаивала на мире. Но царь, изгнав врага из российских пределов, призывал всех к свержению ига и к походу на Париж. Против этого решительно высказывался сам фельдмаршал Кутузов – главнокомандующий русской армии. "Наша территория освобождена, а другие пусть сами себя освобождают". Вместе со многими видными соотечественниками он убежден был в том, что окончательное уничтожение Наполеона невыгодно для России.

Поход на Париж 1813-14 годов был ей так же не нужен, как не нужен был поход 1805 года. Но он нужен был Александру. С исключительным талантом и энергией сколачивал он новую коалицию против Наполеона. На этот раз он был ее душой и руководителем и, буквально, за волосы тянул союзников в Париж.

* * *

Император Николай I – второй сын Павла Петровича, был человеком такого же темперамента. Все его войны, как и войны брата его Александра, имели единственным источником

своего возникновения – волю самодержца. Вместо великой задачи внутреннего устройства своей, еще не окрепшей империи, он всей душой пристрастился к внешней политике. "Упоенный силой и величием", как о нем выразился В. Брюсов, он усвоил агрессивный тон, бряцал оружием, ввязывался в ненужные конфликты и сложные дипломатические положения, приведшие в середине 50-х годов к знаменитой Крымской войне, кончившейся позорным поражением. Существует версия, будто император не вынес этого позора и отравился. При нем вмешательство в чужие войны (кому-то помогать, кого-то освобождать) вошло в систему. Зачем-то послали в 1827 году русский флот к Наварину в помощь английскому и французскому, поддерживавшим греков в их борьбе с Махмудом II. Англичане и французы делали это в своих торговых целях, тогда как у России таких целей не было.

Столь же мало объяснимой была операция 1833 года, когда опять послан был на Босфор русский флот и десять тысяч русских войск в помощь турецкому султану против восставшего на него египетского паши – его вассала. Сам по себе этот демарш не сопровождался военным столкновением и пролитием крови, закончился удачным Ункиар-Искелеским миром, но с какой стати было затевать рискованное предприятие, ничего не обещавшее России, но грозившее ей серьезным конфликтом с Англией и Францией?

Подлинным шедевром николаевской политики было знаменитое подавление венгерского восстания в 1849 году. Венгерцы населяли чуть не половину Австрийской империи. Отделение их от Австрии наносило ей непоправимый удар и превращало во второстепенное государство. Имперская роль Австрии была бы кончена навсегда, и Россия избавилась бы от этого коварного союзника, бывшего всегда ее тайным врагом. И не стоило бы ей это ни одного рубля, ни одного солдата. Надо было только спокойно сидеть и ждать. У венгерцев нашлось достаточно собственных сил, чтобы свергнуть австрийское иго. В их лице Россия обрела бы хороших друзей.

Но в Фельдмаршальском зале Зимнего дворца в Петербурге давно повешена и до сих пор, может быть, висит громадная картина в золоченой раме, изображающая капитуляцию венгерской национальной армии и сдачу ее русскому фельдмаршалу Паскевичу при Виллагоше. Разбив австрийцев и уже

почувствовав себя свободными, венгерцы сокрушены были сотысячной армией Паскевича и вынуждены вернуться в прежнюю зависимость от Австрии.

Никогда столь откровенно и столь недостойно русские национальные интересы не приносились в жертву отвлеченному монархическому принципу, понятому самым нелепым образом. Враги России не преминули объявить ее "европейским жандармом", и смыть это клеймо было уже невозможно.

Николай Павлович позднее понял ошибку своей услужливости. Лет через пять, в разговоре с графом Ржевусским, сказал: "Самым глупым польским королем был Ян Собеский, потому что освободил Вену от турок, а самый глупый из русских государей — я, потому что помог австрийцам подавить венгерский мятеж".

Признанная здесь "глупость" была не единственной и не последней. Ее превзошла своими масштабами Крымская война, затеянная с предельным легкомыслием.

У Николая Павловича была навязчивая идея: раздел Турции. При этом, он никогда не задавался вопросом: зачем это и по силам ли это ему? Ни для кого этот вопрос не был более обязательным, чем для русского императора.

Его военный флот был несравненно слабее флотов Англии и Франции, а армия могла производить впечатление только своей численностью, превосходной муштрой и природной храбростью русского солдата. Вооружение же ее было скудное и отсталое. Еще более отсталым было военное искусство и образованность генералов, в чем убедились французы в битве при Альме.

Всякому прозорливому дипломату того времени ясно было, что "разделить" Турцию без участия, по крайней мере без согласия, великих держав — невозможно.

Николай знал, что Англия, Франция будут противиться разделу, им незачем расчленять Турцию. Но на протяжении всего своего царствования он старался навязать им эту идею.

В 1833 году в Мюнхенгреце спросил князя Меттерниха: "Что вы думаете о турке? Это больной человек, не так ли?" В 1844 году, при посещении Англии, высказался в беседе с лордом Эбердином прямее: "Турция умирающий человек. Мы можем стремиться сохранить ей жизнь, но это нам не удастся. Она должна умереть и она умрет".

Наконец, вечером 9 января в 1853 году, незадолго до войны, появившись на рауте во дворце великой княгини Елены Павловны, император, подойдя к английскому послу лорду Сеймуру, завел в присутствии всего дипломатического корпуса разговор на любимую тему: "Турция больной человек... Надо заблаговременно сговориться..." И тут же предложил план раздела.

Беседа эта сразу стала известной в Лондоне и в Париже.

А в Париже к тому времени сложился климат неблагоприятный для русского императора. К раздражению, вызванному "турецкой" темой, прибавилась обида, нанесенная Луи Бонапарту. Он совершил 2 декабря 1851 года государственный переворот и учредился у власти под именем императора Наполеона III.

При монархических дворах Европы возникли дебаты: именовать ли его отныне "дорогим братом", как это повелось среди государей, или только "добрым другом", как называли еще недавно, когда он был президентом?

Все монархи сошлись на "дорогом брате". Один русский царь отказал в "братстве", чем и нажил себе врага.

Пруссия и Австрия, сыгравшие провокационную роль в обострении этого конфликта, тайно подогревали его. Особенную остроту приобрел он с возникновением нового мотива: с "ключей от гроба Господня". Кому быть их хранителем?

Несмотря на то, что иерархи христианских церквей (папа Пий XI, московский митрополит Филарет) не видели тут никакой причины для соперничества и проявили полное спокойствие, Наполеон III сделал из этого способ ущемления международного престижа Николая. По его представлению, султан отобрал ключи Вифлеемского храма от православных греков и передал латинянам. То был явный вызов русскому царю, покровителю православия. Николай Павлович потребовал от султана восстановления прав православных, но получил отказ. Тогда он ввел войска в Молдавию и Валахию, находившиеся под властью султана.

Турция объявила ему войну, в которую вступили вскоре Франция, Англия и Австрия. Так началась знаменитая "Крымская" война — такая же нелепая, такая же роковая для русского народа, для русского будущего, как все войны конца XVIII и начала XIX века.

Со смертью Николая I утихла на некоторое время страсть затевать войны необдуманно, наобум. Новый царь, Александр II, занялся наконец внутренними, давно назревшими реформами. Но даже в его царствование не могли обойтись во все без войн, хотя и не таких грандиозных, как Крымская.

Совершенное затишье наступило при Александре III, убежденном противнике войны. В его царствование Россия ни с кем не воевала. И тут оказалось, что достаточно ей не хотеть войны и не провоцировать ее, чтобы войны и не было.

Пагубные страсти вновь открылись в царствование последнего царя – Николая II, его сына. Если войны Николая I, как и его покойного брата Александра, имели единственным источником своего возникновения – волю самодержца, то при слабовольном недалеком Николае II видную роль стало играть сановное окружение, высшее военное начальство и даже "вневедомственные влияния".

Министр Гирс жаловался графу Витте: "Беда с военными, которые непременно хотят создавать события, вызывающие войну!"

Не прошло и пяти лет со дня коронации нового царя, как начались разговоры о захвате Босфора. Обручев – глава генерального штаба – хотел захватить Босфор, двигаясь туда на плотах.

Александр III не давал хода столь неуместным темам и разговорам. При Николае они расцвели. Сам император увлечен был босфорской затеей и дал санкцию на ее осуществление. Дело дошло до того, что Нелидов уже поехал в Константинополь, чтобы сделать нужные приготовления и дать оттуда сигнал. Расстроил все Витте, доказавший абсурдность и вредность замысла. "Спаси нас Бог!" – воскликнул Победоносцев, услышав о безумном проекте. А "вневедомственные влияния", несмотря ни на что, росли. Появился Безобразов, сделанный статс-секретарем, начал подбор в государственный аппарат таких же безответственных дельцов, как он сам, и повел свою "дальневосточную" политику. Учреждение наместничества на Дальнем Востоке во главе с адмиралом Алексеевым придало этой политике откровенно авантюрный колониальный характер.

Когда немцы захватили Киао-Чао, русская военная клика решила захватить Порт-Артур и Далян-Ван, не по каким-

либо веским соображениям, а единственно по логике: раз немцы грабят, то и нам надо.

Дальневосточная авантюра потребовала создания русского военного флота, на постройку которого пришлось отпустить 90 миллионов рублей "вне государственной росписи".

Раздраженные русской агрессией японцы потребовали отозвания наших воинских сил с Дальнего Востока. Но в Петербурге долгое время не замечали этого требования. Тогда последовало нападение на Порт-Артур и потопление царского флота.

Спровоцированная безответственными авантюристами, при сочувствии и благоволении царя, стоившая России нескольких сотен тысяч бойцов, стоившая всего дальневосточного флота, нескольких миллиардов рублей – русско-японская война началась. Преступность властей, доведших до нее государство, сознавалась всей страной. С большим трудом, с потерями и с позором удалось из нее выпутаться.

Но рок, довлевший над всем царствованием Николая II, не осенил прозрением – ни царя, ни его окружение. Мышление их оказалось безнадежно отравленным военным дурманом. Вместо того, чтобы, получив жестокий урок, решительно взять курс на уклонение от всяких войн, царь и правительство не мыслили внешней политики иначе, как в виде присоединения к той или иной коалиции великих держав. Какой-то рок тянул их к этим очагам европейской распри.

Пока Россия покрывала себя позором на Дальнем Востоке, в Европе складывались стороны будущей мировой войны: откровенно обнаружила себя коалиция Германия–Австрия, к которой тяготела Турция. В противовес им образовался Англо-Французский блок (Антанта). Та и другая стороны были кровно заинтересованы в привлечении на свою сторону России.

В самый разгар русских неудач на Дальнем Востоке император Николай II, чтобы рассеяться, отправился в Финский залив на своей яхте "Полярная Звезда". Когда он остановился в Бьорской бухте, туда неожиданно пришла яхта "Гогенцоллерн". Император Вильгельм знал слабую податливую натуру Николая и, выбрав удачный момент для свидания, уговорил его подписать договор,

означавший отступление от давно заключенного франко-русского союза и сближение с Германией.

Узнав об этом, граф Ламздроф — министр иностранных дел — и некоторые другие министры пришли в ужас. То был настоящий дипломатический скандал. Обанкротившаяся вследствие японской войны и нуждавшаяся в деньгах Россия могла получить их только во Франции. Приложены были все усилия, чтобы аннулировать Бьоркский договор. Но зато это означало порчу отношений с Германией. Эпизод этот лучшее свидетельство того, сколь твердыми принципами руководствовалась русская внешняя политика.

Встает самый важный вопрос: могла ли Россия не вступить в Мировую войну, принесшую ей гибель?

В какой-то мере — это область гаданий. И все же несмотря на феноменальное легкомыслие вершителей русской внешней политики, у нее имелась возможность остаться в стороне от армагедонской битвы народов. Надо было только сбросить со своего корабля балласт, могущий его потопить. Надо было отказаться от давнишней роли покровительницы славян.

Южные славяне веками жили вдали от России — в неметчине, в туретчине, никакой особой близости с Россией у них не было. Объединить их с нею территориально и государственно даже мысли не возникало. Когда их насильно исламизировали или католицизировали — православная церковь и царское правительство ничего поделать не могли. История и география сделали южно-славянский вопрос неразрешимым для России. Попытки разрешить его сулили ей всегда тяжелую войну с западными державами, а то и конфуз, вроде того, что испытали русские в результате заступничества за болгар.

В 1877 году турки учинили невиданную резню в этой части своей империи, не щадя ни женщин, ни детей. Гладстон написал свою знаменитую книгу об этих зверствах, в надежде пробудить совесть цивилизованной Европы, спокойно взиравшей на бесчеловечное истребление болгар. Ни книги, ни речи не помогли. Помогло оружие, поднятое против турок императором Александром II.

Но спасенные русскими войсками от гибели болгары чуть не на другой же день превратились во врагов России.

Факт этот, хорошо известный деятелям эпохи Николая II, не послужил предостережением и не предотвратил

в 1914 году русского заступничества за Сербию, которую Австрия намеревалась аннексировать. Это из-за нее Россия объявила мобилизацию, послужившую предлогом для выступления Германии и начала Мировой войны.

Это был тот "путь смерти", о котором гласил трактат Сун-Цзы. Не прошло года, как в Ставке Русского верховного главнокомандующего стало известно, что Сербия, из-за которой успели погибнуть сотни тысяч русских солдат, готова заключить мир и перейти на сторону врагов.

Этого не случилось, но духом балканских измен повеяло ясно.

В СССР и за границей много написано на тему гибели России. Чаще всего это поиски "виновников": бездарный царь, тупые министры, недалекая либеральная общественность, техническая и культурная отсталость...

Лишь об одном органическом пороке никогда не упоминается — о нелепых безрассудных войнах, истощавших нашу родину на протяжении двух столетий. Их роль в российской катастрофе до сих пор не принимается во внимание.

СЕВЕРНЫЙ ТАЛЬМА

Он взял Париж и создал наш лицей.

Пушкин

31 марта 1964 года исполнилось 150 лет с того дня, когда русский император Александр I, в сопровождении короля прусского и австрийского генерала Шварценберга, вступил в Париж во главе гвардии и союзных войск. Зрелище было одним из самых редких. Весь Париж высыпал на улицу; тротуары, окна, крыши домов полны были народом, с балконов махали платками. Александр нисколько не преувеличивал, когда рассказывал потом князю А. Н. Голицыну: "Все спешило обнимать мои колена, все стремилось прикоснуться ко мне; народ бросался целовать мои руки, ноги, хватались даже за стремяна, оглашали воздух радостными криками, поздравлениями".

Французы, действительно, проявили род экстаза. "Que l'Empereur Alexandre est beau, comme il salue gracieusement! Il faut qu'il rest a Paris ou qu'il donne un souverain qui lui ressemble."

Это был лучший день в его жизни. Ни торжественная встреча в Лондоне и в Амстердаме, ни фимиамы, курившиеся в Германии, не могли затмить парижского триумфа. Два месяца пребывания во французской столице были сплошным купанием в лучах славы и почестей. Он блистал в салоне мадам де Сталь, танцевал в Мальмезоне с императрицей Жозефиной, посещал королеву Гортензию, беседовал с учеными, поражая всех своим образцовым французским языком. Выходил и выезжал без охраны, охотно вступал в разговоры с народом на улице, и всегда его сопровождала восторженная толпа. Популярность его была такова, что к ней возревновал Луи XVIII, посаженный на трон милостию Александра.

Казалось бы, русское национальное самолюбие удовлетворено было полностью; все, как будто, сделано для оправдания известной фразы: "Покорение Парижа явилось необходимым достоянием наших летописей. Русские не могли бы без стыда раскрыть славной книги своей истории, если бы за страницей, на которой Наполеон изображен стоящим среди пылающей Москвы, не следовала страница, где Александр является среди Парижа".

Но у многих современников, особенно участников парижского взятия, зрелище "Александра среди Парижа" породило чувство не гордости, а обиды. Блестал один царь, армия же, претерпевшая столько лишений и вознесшая его на небывалую высоту, поставлена была в самое унижительное положение. В то время, как союзное начальство создало для прусских и австрийских солдат вполне приличный режим, с русскими обращались, как с сенегальцами, стараясь прятать от взоров парижан. "Победителей морили голодом и держали как бы под арестом в казармах, — писал участник кампании Н. Н. Муравьев, известный впоследствии под именем Карского. — Государь был пристрастен к французам и до такой степени, что приказал парижской национальной гвардии брать наших солдат под арест, когда их на улице встречали, отчего произошло много драк". Не мало оскорблений перетерпели и офицеры. Стараясь приобрести расположение французов, Александр, согласно Муравьеву, "вызывал на себя ропот победоносного своего войска".

Во второй свой приход в Париж, после знаменитых "Ста дней", в 1815 году, он нанес этому войску еще более чувствительную обиду. Заметив во время церемониального марша гвардейской дивизии, что некоторые солдаты сбились с ноги, он приказал двух заслуженных командиров полков посадить под арест. Само по себе это еще не представляло ничего необычного; одиозность заключалась в том, что арестовывать провинившихся должны были англичане, и содержаться они должны были не на русской, а на английской гауптвахте. Напрасно Ермолов умолял лучше в Сибирь их сослать, чем подвергать такому унижению русскую армию. Император остался непреклонен.

До офицеров часто доходили презрительные отзывы государя о своих подданных; каждого русского он считал

либо плутом, либо дураком. Никаких заслуг за ними не признавал. Когда во время смотра русской армии при Вертю герцог Веллингтон отозвался о ней с чрезвычайной похвалой, Александр во всеуслышание заметил, что всем обязан исключительно иностранным офицерам, состоявшим у него на службе. Казалось, в нем воскресли замашки его гольштейн-готторпсокго деда Петра III. Обнаружилась резкая разница в обхождении с русскими и с иностранцами. Полковник Михайловский-Данилевский свидетельствует об обворожительной любезности царя всякий раз, когда у него бывали иноземцы, и о резкой перемене тона, как только они уходили. С оставшимися русскими Александр начинал обращаться, как помещик со своей дворней после отъезда гостей.

Принимая с наслаждением овации парижан, он не заботился о приветствиях и рукоплесканиях своего собственного народа. В Петербурге воздвигались к его приезду триумфальные арки, сооружался фейерверк и иллюминация, но он еще с дороги прислал высочайший рескрипт на имя петербургского главнокомандующего Вязьмитинова с запрещением каких бы то ни было встреч и приемов. Приехал в Петербург в семь часов утра, с таким расчетом, чтобы его никто не видел. Только когда прибыла морем гвардия, высадившаяся у Ораниенбаума, он не мог отказать ей в почетной встрече, каковая и состоялась 11 августа 1814 года.

* * *

Париж был взят не для славы России, а для славы "нового Агамемнона", который все делал, чтобы забыли, чей он царь, и видели бы в нем только доброго и светлого "императора Александра". Он один красовался перед Европой, ничего не щадя, ничего не жалея для снискания симпатий ее народов, особенно французов и поляков.

Первым его делом, по приезде в отвоеванное Вильно в 1812 году, было — снять особым манифестом всякую вину с литовских и белорусских поляков за их измену и переход на сторону неприятеля. Позднее, в письме к князю Адаму Чарторийскому, он признавался, что сделать это было не легко по причине сильного озлобления в русском обществе.

Из всех двенадцати языков, пришедших с Наполеоном, поляки отличились наибольшими грабежами и зверствами по отношению к русскому населению, на котором вымещали свою досаду за раздел Польши. Кутузов дожидался приезда царя, чтобы предложить ему на подпись указ о конфискации панских имений с тем, чтобы наградить ими офицеров, отличившихся в Отечественной войне.

Но расположение поляков императору было дороже крови своих подданных. В обращении к жителям Герцогства Варшавского говорилось: "Вы опасаетесь мщения? Не бойтесь. Россия умеет побеждать, но никогда не мстит."

Амнистия эта поразила даже либералов. Лагарп писал Александру: "При другом государе, половина Польши была бы конфискована без всякого нарушения законов и установленных обычаев, но Ваше величество нашли средство быть милостивым там, где другие усмотрели бы повод для наказания".

12 января 1813 года подобная же амнистия объявлена была курляндским изменникам. Никогда, однако, не было объявлено ни об амнистии, ни о смягчении участи того небольшого числа русских, что провинились перед отечеством во время нашествия Наполеона. Они были, по всем правилам, отданы под следствие и суд.

* * *

Со стороны русских государственных деятелей не мало было возражений против похода на Париж. Сам главнокомандующий М. И. Кутузов считал его делом антирусским и пребывал, по этому поводу, в постоянных противоречиях с императором. Насколько эти противоречия были остры, можно судить со слов чиновника Крупенникова, находившегося в комнате умиравшего фельдмаршала, в Бунцлау, и слышавшего последний разговор его с царем.

— Прости меня, Михаил Илларионович!

— Я прощаю, государь, но Россия вам этого никогда не простит.

В конце 1812 г. Кутузов напомнил Александру его клятву: не складывать оружия до тех пор, пока хоть один неприятельский солдат останется на его территории. "Ваш обет исполнен,

ни одного вооруженного неприятеля не осталось на русской земле; теперь остается исполнить и вторую половину обета — положить оружие”.

Вместе с адмиралом Шишковым, графом Румянцевым и несколькими другими сановниками, Кутузов принадлежал к той части русского общества, которая считала ненужной и вредной окончательную гибель Наполеона. Полагали, что истребление великой армии — достаточно хороший урок для корсиканца, чтобы у него не появилось желания снова двинуться в Россию. С ним теперь можно заключить выгодный, почетный мир, но никак не добиваться полного исчезновения его с европейской арены. Оно освободило бы исторических врагов России — Австрию, Пруссию, Англию.

Еще под Малоярославцем, задолго до окончательного изгнания неприятеля, Кутузов откровенно признался своему врагу, английскому генералу Вильсону, что усматривает задачу не в уничтожении противника, а только в выпроваживании его из русских пределов и в воздержании от дальнейших военных действия. ”Я вовсе не убежден, будет ли великим благодеянием для вселенной совершенное уничтожение императора Наполеона и его армии. Наследство его достанется не России или какой-нибудь другой из держав материка, а той державе, которая уже теперь господствует на морях, и тогда преобладание ее будет невыносимым”.

Главнокомандующий с самого начала войны вел борьбу с союзническим влиянием, пустившим в Петербурге и в армии такие корни, что многие офицеры смотрели на события нерусскими глазами.

”Мы никогда, голубчик мой, с тобой не согласимся, — сказал он раз одному из своих генералов, — ты думаешь только о пользе Англии, а по мне, если этот остров сегодня пойдет на дно моря, я не охну”.

Вряд ли он смотрел так далеко вперед, как это думает Е. В. Тарле, приписывая Кутузову род предвидения тех дней, когда европейцы будут ”лить кровь внуков и правнуков тех русских солдат, которых теперь хотят погнать для освобождения Европы от Наполеона”, но несомненно, старый воин умел трезво оценивать факты и чужд был политических фантазий. Лучше всех зная, что такое Наполеон и что такое война, он считал верхом легкомыслия идею преследования противника за пределами России.

Все наиболее осведомленные историки, вроде Н. К. Шильдера, полагают, что общественное мнение в России было на стороне главнокомандующего. Говорили, что Россия и без того совершила чудо и что теперь, когда отечество спасено, ей не зачем приносить жертвы для блага Пруссии и Австрии, чей союз хуже откровенной вражды. Дошло до того, что Пензенская губерния, сформировавшая свое ополчение для борьбы с вторгшимся в Россию неприятелем, не пожелала отправить его в заграничный поход.

Один император, поддерживаемый раболепным хором придворных, да союзническими дипломатами, настаивал на преследовании и низложении "тирана".

В какой-то мере, Александр может считаться предшественником русского "западничества" 30-40-х годов, по крайней мере, его лексикона и фразеологии. Именно с похода 1813 года слова "Европа", "мир", "вселенная", "человечество" стали произноситься с той декламационной напыщенностью, которая так привилась впоследствии. Первые слова Александра к собравшимся во дворце генералам, по прибытии в Вильно в декабре 1812 года, были: "Вы спасли не одну Россию, вы спасли Европу". Когда князь М. Ф. Орлов явился к маршалу Мармону с предложением сдаться на капитуляцию, он отрекомандовался "флигель-адъютантом его величества императора всероссийского, который желает спасти Париж для Франции и мира". Тот же Орлов, по поводу притязаний России, сказал, что она хочет "ничего для себя и всего для мира".

В то время, как Австрия, Пруссия, Англия шли под своими национальными знаменами и откровенно преследовали национальные интересы, Александр представлял себя благодетелем и освободителем "вселенной".

Прусский король, не успев еще выступить в поход, приготовил счет на 94 миллиона франков в возмещение поставок для наполеоновской армии в 1812 году. После победы союзники забирали у Франции порты, крепости, корабли, пушки, военное имущество и припасы, отхватывали территории на Балканах и в Италии – Александр не брал ничего. Он держался так, что никому в голову не приходило, что это царь самой бедной страны, чья столица обращена в пепел, чьи восемь губерний разорены до тла, чья и без того слабая экономика подорвана, чей народ истекает кровью после

небывалой в истории войны. О бедствиях этой страны он ни разу не обмолвился. Не любил и вспоминать об этом. "До какой степени государь не любит вспоминать об Отечественной войне!", замечает барон Толь в своих записках. "Сегодня годовщина Бородина", — напомнил он императору 26 августа 1815 года; Александр с неудовольствием отвернулся от него.

Михайловский-Данилевский, постоянно находившийся при царе, оставил в своем дневнике такую запись под 1816 годом. "Непостижимо для меня, как 26 августа государь не только не ездил в Бородино и не служил в Москве панихиды по убиенным, но даже в сей великий день, когда все почти дворянские семьи в России оплакивают кого-либо из родных, павших в бессмертной битве на берегах Колочи, государь был на бале у графини Орловой. Император не посетил ни одного классического места войны 1812 года — Бородина, Тарутина, Малоярославца, хотя из Вены ездил на Ваграмские и Аспернские поля, а из Брюсселя в Ватерлоо".

Звание русского царя, казалось, меньше всего удовлетворяло Александра. "Бог ниспослал мне власть и победу для того, чтобы я доставил вселенной мир и спокойствие".

Для снискания восторгов и кликов парижской толпы этот язык был самым верным, но у испытанных политиков, особенно таких, как Меттерних и Талейран, он не мог не вызвать насмешки. "Вселенная" скоро дала урок своему освободителю, превратив антинаполеоновскую коалицию в коалицию антирусскую.

Для того же Талейрана, в первые дни по взятии Парижа, каждое слово Александра было законом; он даже жить пригласил его к себе в дом; но уже через месяц царь переехал от него в Елисейский дворец. Талейран объединил против него всех недавних его союзников. Луи XVIII, корчивший из себя Людовика XIV, начал демонстративно оказывать своему благодетелю знаки пренебрежения — развалился, при первом же свидании, в кресле, предложив императору стул; за обедом, когда лакей собирался сначала Александру налить супа, заорал "roug moi s'il vous plait!".

Наиболее обязанный Александру европейская страна, Пруссия, меньше чем через десять лет забыла его благодеяния, а в эпоху Бисмарка, Трейчке, Вильгельма II самый факт участия России в освобождении Германии замалчивался либо

отрицался вовсе. О том, как благодарила Австрия — всему миру известно.

* * *

Уже в дореволюционной русской историографии не много было споров по поводу оценки похода 1813 года.

Большинство авторов считало его одним из самых неразумных предприятий с русской точки зрения. Полагали, что вред изменения европейского равновесия не в русскую пользу и тот страх перед русским колоссом, который перешел в ненависть, были прямым результатом парижского похода. Что касается советской историографии, то она этим сюжетом никогда не занималась. В эпоху Покровского исходили из ленинского определения антинаполеоновской коалиции как "разбойничьих государств".

Но в полуторастолетнюю годовщину взятия Парижа сочли, видимо, неудобным приписывать дело освобождения "разбойникам", тем более, что сам К. Маркс называл войну 1813-14 годов "освободительной". Неудобно клеймить и непрошенного освободителя Александра в такое время, когда вся внешняя политика СССР — сплошное непрошенное освобождение, сплошное отрывание куска хлеба у собственного народа, ради миллиардных затрат на вооружение Кубы, Индонезии и прочих экзотических стран, о существовании которых русский мужик слыхом не слыхал. Пришлось реабилитировать взятие Парижа и причислить его к лику "прогрессивных" явлений. Зато произведена была перестановка действующих лиц: Александра отодвинули на задний план и едва удостоили упоминания, тогда как инициативу преследования Наполеона и избавления от него Европы, вопреки всем данным, приписали... Кутузову. Главным же героем сделали "революционный германский народ".

Не забудем трагического положения русских историков в СССР и не станем возлагать на них ответственность за такую фантастику.

В Германии сто лет тому назад вышла книга Иоганна Шерра "Blücher, seine Zeit und sein Leben", поставившая уже тогда вопрос: возможно ли было освобождение Европы без

помощи русской армии? Ответ: решительное "нет". Отважились бы на бунт против Наполеона Пруссия и Австрия? Нет. Он и разбитый был им страшен. К тому же, после бегства из России он успел так быстро создать новую грозную армию, что заячьи уши Габсбургов и Гогенцоллернов не переставали трепетать. Меттерних не проявлял ни малейших признаков неповиновения, а прусский король, сохраняя дружбу с Александром, изъявлял в то же время Наполеону самые верноподданнические чувства.

Могли ли поднять восстание князья Рейнского Союза? Нет. Они были верными вассалами Бонапарта и энергично помогали ему вооружаться.

Сделали ли бы что-нибудь германские патриоты? "Нет и еще раз нет!".

В самом деле, когда говорят о немецком национально-освободительном движении, то ссылаются, обычно, на речи Фихте к немецкому народу, на патриотические стихи Кёрнера, на пьесы Клейста, на книгу профессора Арндта "Дух времени", на возбуждение, охватившее немецкое студенчество, но почти нет ссылок на восстания, битвы и баррикады. "Революционный народ" предпочитал отделяться стихами и речами. Инициатива войны против "тирана" принадлежала прусскому королю, а король, в свою очередь, не осмелился восстать до тех пор, пока русские войска не вошли в его владения. Да и тут он не столько сам поднялся, сколько втянут был в коалицию настоянием Александра. Когда генерал Иорк фон Варбург изменил Наполеону и перешел на сторону русских в Восточной Пруссии, король, со страху, отрекся от него и отрешил от командования.

Ничего похожего на испанскую гверилью или на русскую партизанскую войну не было. Народ поднимался только по мере занятия германских территорий русскими войсками. Партизанские отряды Тугенбунда появились чуть не полгода спустя после начала кампании, и деятельность их была далеко не яркой. Что же до "движения силезских ткачей" или "восстания в гамбургском порту", то это обычная советская манера выдавать каждую драку в пивной за мощное народное движение.

Современник и участник событий, прусский фельдмаршал Гнейзенау, писал в 1831 году: "Если бы император

Александр, по отступлении Наполеона из России, не преследовал завоевателя, вторгнувшегося в его государство, если бы он удовольствовался заключением с ним мира, то Пруссия поныне находилась бы под влиянием Франции, а Австрия не ополчилась бы против последней. Тогда не было бы острова св. Елены, Наполеон был бы еще жив, и один Бог знает, как бы он выместил на других те невзгоды, какие ему пришлось вынести в России. Русскому союзу мы обязаны нашей настоящей независимостью”.

По мнению Иоганна Шерра, ”без Александра не было бы войны 1813 года”.

* * *

Пока борьба со страшным врагом велась на территории России, император находился вдали от армии, доверив командование людям, которых он считал опытнее себя в военном деле. Хотя он не любил Кутузова, но умом либо инстинктом понимал, что это тот человек, который сейчас нужен. Как только неприятель был уничтожен и русская армия достигла границы, император появляется в главной квартире, в Вильно, и всем своим поведением дает почувствовать, что наступило его время. Делу организации парижского похода он предан с такой страстью, точно это было делом его жизни. Ласково и осторожно, не обижая старика, он прибирает к рукам власть над армией, а со смертью Кутузова становится окончательно ее распорядителем, хотя по-прежнему не берет на себя роли главнокомандующего.

Настойчивость его и терпение в создании антинаполеоновской коалиции, необыкновенны. Три месяца понадобилось, чтобы уговорить прусского короля подняться ради собственного освобождения, хитрую же Австрию удалось привлечь к союзу только через семь с половиной месяцев. Уламывая тех и других, Александр вынужден был приносить им всевозможные жертвы. Он отдал значительные отряды своих войск под команду прусских и австрийских генералов и согласился на предоставление князю Шварценбергу поста главнокомандующего союзных войск. Это не помешало австрийцам после каждой неудачи заводить разговоры о выходе из коалиции и

мире с Наполеоном. Так было, например, после поражения под Дрезденом. В день вступления в Париж царь сказал Ермолову, указывая на Шварценберга: "По милости этого толстяка не раз у меня ворочалась под головой подушка".

Действительно, за все время кампании, Александр не столько боялся неприятеля, сколько своего главнокомандующего. Это была воплощенная бездарность, совершенно не заслуживающая того пышного памятника, который воздвигнут ей в Вене. Мало того, что князь трепетал при каждом появлении Наполеона, как мышь при виде кошки, но все его распоряжения обеспечивали армии не успех, а поражение. Иногда он, ни с того, ни с сего, начинал отступать до того беспорядочно, что превращал отступление в бегство. Прекрасно удавалось ему также раскидывать полки на огромном пространстве, расплывать силы и делать армию легкой добычей врага. Но чаще всего, он вообще не знал, что надо делать. Под Дрезденом он своей беспомощностью привел генерала Моро в такую ярость, что тот бросил шляпу оземь: "Черт возьми, сударь, я не слишком буду удивлен, если окажется, что, начиная с семнадцати лет, вас постоянно били". Когда Александр отвел в сторону пылкого француза и стал успокаивать, Моро воскликнул: "Государь, этот человек все погубит".

Но самое сильное беспокойство доставлял он Александру своим откровенным саботажем. Следуя тайным предписаниям Меттерниха, он просто не желал иногда двигаться вперед. Александру приходилось ночью, с фонарем ходить к нему на квартиру и поднимать с постели, чтобы заставить наступать.

"Эти австрийцы сделали мне много седых волос", — вырвалось как-то раз у императора.

Когда французская армия, после поражения под Лейпцигом, ушла за Рейн и освобождение Германии фактически совершилось, австрийцы и пруссаки усвоили ту самую логику, которой держался Кутузов, когда изгнал Бонапарта из России: какой смысл в продолжении войны? Наша территория освобождена, а французы пусть сами себя освобождают. С этих пор не столько усталый Наполеон, сколько союзники Александра жаждали мира. Для "царя царей" настали трудные дни, дело его могло пропасть и все усилия и жертвы оказаться напрасными. Но тут и проявился во всем блеске его дипломатический гений, ему удалось сдвинуть с мели баржу коалиции

и продолжать наступление на Париж. Искусство его свелось теперь к тому, чтобы следить, как бы союзники не заключили втихомолку мир.

Особенно опасным для него оказалось 24 февраля 1814 года, когда после ряда поражений, нанесенных Наполеоном силезской армии Блюхера у Шампобера, у Монмираля, у Шато Тьерри и у Вошана, союзники собрались на совещание у короля прусского и постановили послать письмо маршалу Бертье с предложением мирных переговоров. Даже Англия настаивала на мире. Лорд Кестльри заявил императору: "Я имею приказание парламента пользоваться обстоятельствами, благоприятствующими заключению мира, который в настоящее время тем более необходим, что я вижу нашу коалицию готовою распасться".

Один Александр остался непреклонным. "Я не заключу мира, пока Наполеон будет находиться на престоле".

Даже после 5 марта, когда нелепый Шварценберг без всякой причины устроил чуть не паническое отступление армии и когда на военном совете одобрили и готовы были продолжать это отступление, Александр с обычной твердостью заявил, что он отделил от главной армии все русские войска и, соединившись с Блюхером, пойдет на Париж.

Барклай де Толли имел полное основание утверждать, что "твердости и неуклонности нашего императора, выносливому терпению и неутомимому попечению его мы обязаны этим еще никогда невиданным и неслыханным феноменом, что такая огромная и сложная коалиция до сей поры еще существует и с энергией преследует все ту же цель".

* * *

Александр буквально за волосы втащил союзников в Париж.

Такая настойчивость не может не привлечь к себе особого внимания. Почему из всех врагов Бонапарта один Александр проявил полную беспощадность и методичную последовательность в его уничтожении?

Сам Наполеон начал присматриваться к царю только после трагического оборота войны 1812 года. До тех пор

лучший комплимент, сказанный им по адресу Александра, гласил, что он не так глуп, как о нем иногда думают. Лишь взяв Москву и наткнувшись на железную непримиримость Александра, Наполеон увидел в нем противника непохожего на тех, с которыми приходилось иметь дело дотоле. Когда же выяснилось намерение Александра идти на Париж и обнаружилось, что ни тяготы похода, ни поражения, ни предательство союзников, ни соблазнительные предложения самого Наполеона не способны его остановить и заставить пойти на сговор, Наполеон понял, что это и есть его подлинный смертельный враг. Усталый, искусанный, он неуклонно добирался до его горла.

В исторической литературе давно отмечен фанатизм этой загадочной ненависти и существует немало попыток ее объяснения. Самое неудачное то, которое исходит из экономических и политических интересов России. У России не было реальных поводов для участия в наполеоновских войнах. Европейская драка ее не касалась, а у Наполеона не было причин завоевывать Россию. Веди она себя спокойно, занимайся собственными делами, никто бы ее пальцем не тронул.

Не более убедительна и другая точка зрения, объясняющая войны России с Директорией и бонапартистской Францией реакционными склонностями русских царей. Только война Павла I могла бы подойти под такое толкование и то с трудом. Александр же меньше всех походил на борца с революционной заразой, он еще до вступления на престол поражал иностранцев негодующими речами против "деспотизма" и преклонением перед идеями свободы, закона и справедливости. Конечно, цена его либерализма известна и вряд ли приходится возражать тем историкам, которые считали его маской, но такая маска годится для чего угодно, только не для борьбы с революцией. Гораздо вернее, что у него не было никаких принципов и убеждений.

В разговорах с бароном Витролем, за две недели до взятие Парижа, он высказался в пользу учреждения республики во Франции. Он не любил Бурбонов. Но когда Талейран сказал ему, что возможны лишь две комбинации — Наполеон или Людовик Восемнадцатый, он согласился на Людовика, хотя никогда не скрывал антипатии к старой династии.

Десятого апреля он подарил роялистов трогательным

спектаклем, собрав русскую армию на теперешней Place de la Concorde, "где пал кроткий и добрый Людовик Шестнадцатый". Там было совершено торжественное молебствие, при стечении парижской публики и всего знатного, что было в столице.

Республика или Бурбоны — царю было безразлично. Лишь бы не Наполеон. Еще за неделю до капитуляции Парижа он сказал Толю: "Здесь дело идет не о Бурбонах, а о свержении Наполеона".

Это и есть ключ к тайне его вражды и непримиримости. "Наполеон или я, я или он, но вместе мы не можем царствовать", — сказал он полковнику Мишо в 1812 году, а сестре своей, Марии Павловне, еще задолго до того внушал: "В Европе нет места для нас обоих. Рано или поздно, один из нас должен уйти".

Есть основание думать, что свержение Наполеона было мечтой и делом его жизни и захвачен он был этой идеей с начала своего царствования, если не раньше. Альбер Сорель полагает, что уже в период мемельского свидания план сокрушения Наполеона начал складываться в голове царя.

Он безусловно понимал невозможность поединка с величайшим полководцем всех времен и искал союзников. Конечно, он знал коварство прусского короля, его мелкие проделки, вроде заключения в 1806 году двух тайных союзов одновременно с Францией и с Россией; знал и терпел такие же проделки в 1813-14 годах, но прощал все и спасал своего партнера, как мог, понимая, что без жертв и без отпущения грехов никаких союзов создать и удержать невозможно. Во имя заветной цели, он постоянно закрывал глаза на коварство своих друзей.

В Вене, во время знаменитого конгресса, разыгрался единственный в своем роде случай. 3 января 1815 года Меттерних, Талейран и Кестльри заключили тайный договор против России, предусматривающий войну и создание 450-тысячной армии, для которой Англия, Франция и Австрия обязались выставить по 150 тысяч каждая. Князь Шварценберг начал разрабатывать план войны с Россией. Александр оказался изолированным, и у всех, кто еще недавно заискивал перед ним, появилась гордая осанка и металл в голосе. Отсылая своему королю договор на ратификацию, Талейран

писал о нем, как о величайшем успехе Франции.

И вдруг, 7 марта прибыла эстафета из Генуи, извещавшая об отплытии Бонапарта с острова Эльбы. Разом все переменялось. Снова понадобились русские штыки и русские гранатеры, и Меттерних, и Талейран появились опять в приемной у Александра. Но вот, 8 апреля, император получает бумагу из Парижа от Наполеона. Луи XVIII бежал из Тюльери с такой поспешностью, что забыл на столе в своем кабинете тайный договор, присланный ему Талейраном. Наполеон любезно отослал его русскому императору, которому представлялся теперь исключительный случай достойно проучить своих двучличных друзей. Он мог нанести чувствительный удар их моральному престижу и уехать из Вены с видом жертвы союзнических интриг, мог доставить себе удовольствие, оставив их один на один с корсиканским львом, и даже — заключить с ним дружественное соглашение, которое тот предлагал через королеву Гортензию и которое подсказывалось всей создавшейся обстановкой. Без всяких усилий и жертв с своей стороны он мог занять самое видное место в Европе, избавившись от роковых друзей и получив прекрасного союзника в лице врага.

Но вот что произошло. Призвав к себе барона Штейна и дав ему прочесть трактат, Александр сказал: "Я пригласил к себе также князя Меттерниха и желаю, чтобы вы были свидетелем нашего разговора". Когда вошел Меттерних, Александр спросил — "известен ли вам этот документ?" Пока растерявшийся князь придумывал, что ответить, император заявил: "Меттерних, пока мы оба живы, об этом предмете никогда не должно быть разговора между нами. Теперь нам предстоят другие дела. Наполеон возвратился и поэтому наш союз должен быть крепче, нежели когда-либо". С этими словами он бросил бумагу в горевший камин.

Ни Меттерних, ни Талейран, конечно, не в состоянии были объяснить такого жеста главы государства; они были политиками, а политику в поступке Александра трудно найти. Что же в нем было?

Была прежняя одержимость враждой к Наполеону чисто личного свойства.

Одну из причин этой вражды подметил великий князь Николай Михайлович в своем труде об Александре I. Бонапарт, еще в бытность свою Первым Консулом, затронул самую чувствительную рану Александра — напомнил ему отцеубийство, каковое напоминание никогда ему не было прощено. Такое соображение очень важно иметь в виду, но вряд ли оно объясняет всю силу страсти, с которой царь добивался уничтожения противника. Ему и собственные подданные, вроде Яшвиля, делали такие напоминания, но ничему, кроме простой опалы не подвергались.

Вражда его к Наполеону — род ревности к чужой славе, встречающийся в шекспировских драмах — что-то вроде соперничества Тулла Ауфвидия с Кориоланом или принца Генриха с сэром Перси Хотспер.

Я принц Уэльский; и не думай, Гарри,
 Что впредь со мной делить ты будешь славу:
 Двум звездам не блистать в одной орбите,
 И принц Уэльский вместе с Гарри Перси
 Не могут властвовать в одной стране.

Американская и французская революции открыли эру честолюбцев. Старый абсолютизм Бурбонов, Габсбургов, Романовых свободен был от этого новомодного греха. Монархи так высоко стояли над народом, что воздававшиеся им почести рассматривались как должное, да и приносились не в воздаяние их личных заслуг и талантов, а в знак преклонения перед помазанничеством Божиим. Государям и в мысль не приходило добиваться "популярности" у своих подданных. Что же до генералов и министров, то они заботились о монаршей милости, а не о любви народной. Только революционная эпоха, выведшая массы на сцену, поставила проблему популярности и породила культ героев. Двадцатидвухлетние генералы стали бить седовласых фельдмаршалов, военными громами начали повелевать не графы и герцоги, а бывшие конюхи. Разом упали в цене чины, титулы, пышные звания, уступив место таланту и дарованию. Появились никому прежде не ведомые Вашингтоны, Мирабо, Робеспьеры, Бонапарты,

чьим украшением стала не грудь, увешанная орденами, а собственный гений. С тех пор не знаки отличия, а гул молвы, овации и рукоплескания сделались мечтой всех честолюбцев. Ослепительный восход звезды Наполеона породил их в невиданном количестве. Юношество всех стран бредило карьерой чудесного корсиканца, и в этой толпе были не одни безвестные Жюльены Сорели. Император всероссийский Александр Павлович смело может быть отнесен к их числу. Он тоже был захвачен величественной эпопеей нового Цезаря и жаждой такой же славы, такого же блеска, в котором выступал перед всем миром Наполеон. Соперничество и соревнование были истинной причиной его неприязни. Эту тайну своего сердца выдал он в день вступления в Париж, когда он, как ему казалось, сравнялся наконец в славе с Наполеоном. "Ну что, Алексей Петрович, скажут теперь в Петербурге? — обратился он к Ермолову. — Ведь, право, было время, когда у нас, величая Наполеона, меня считали за простачка".

Кокетничая скромностью и смирением, Александр, на самом деле, никому не прощал непризнания за ним выдающихся качеств. Сестре своей Екатерине Павловне он писал из Эрфурта в 1808 году: "Бонапарт воображает, что я не что иное, как дурак. Смеется тот, кто смеется последний".

* * *

Для повелителя необъятной империи с населением в 36 миллионов человек существовало много способов прославиться без войны, без участия в европейских распрях. Кольбер снискал мировую известность одним только поднятием финансовой и экономической мощи Франции. Ришелье, также, велик стал во всем мире единственно тем, что создал в своем отечестве сильную монархию. Но у Александра не было своего дела, особенно в России. Как все тщеславные люди, он думал не о деле, а о почестях и, как все тщеславные, не любил чужих подвигов.

Он завидовал всем героям Отечественной войны. К памяти Кутузова питал откровенную неприязнь, ответил отказом на приглашение Фридриха-Вильгельма осмотреть памятник Кутузову, воздвигнутый королем в Бунцлау, где

скончался победитель Наполеона. Говорили, что опала адмирала Сенявина объясняется тем, что его победа над французским флотом и войсками слишком резко выделилась на фоне поражения самого Александра под Аустерлицем.

Если столь ревнивое отношение проявилось к отечественным героям, то что сказать про того, кто своей мировой славой отравил душу и помыслы русского царя? Сразиться, победить, вырвать эту славу — вот сон, снившийся ему днем и ночью. Он ждал первого случая, чтобы схватиться с Наполеоном и, когда в 1804 году монархическая Европа всколыхнулась по поводу расстрела герцога Энгиенского, Александр реагировал резче всех — выслал из Петербурга французского посла Эдувиля, а в Париже выступил с нотой протеста. После этого он действует в Лондоне и в Берлине, как самый нетерпеливый и горячий участник антифранцузской коалиции.

* * *

Тактика его соперничества с Наполеоном продумана была и выполнена артистически. Ее можно назвать гениальной. Александр понимал, что сорвать с Бонапарта лавры полководца — вещь немислимая, и никогда не пытался этого делать. Ни под Аустерлицем, ни в дни великого нашествия, ни в походе на Париж не впадал он в соблазн принять на себя командование. Когда ему, однажды, посоветовали это сделать, он грациозно отклонил предложение. "Все люди честолюбивы; признаюсь откровенно, что и я не менее других честолюбив... Но когда я подумаю, как мало я опытен в военном искусстве, в сравнении с неприятелем моим, и что невзирая на добрую волю мою, я могу сделать ошибку, от которой прольется драгоценная кровь моих детей, тогда, невзирая на мое честолюбие, я готов охотно пожертвовать моею славою для блага армии. Пусть пожинают лавры те, которые более меня достойны их".

Затмить Наполеона и привлечь к себе внимание мира он собирался не как полководец, а как "Агамемнон" — предводитель царей и народов. Его заботой было — как можно меньше походить на своего соперника. Там, где Наполеон говорил "моя воля", Александр говорил "Провидение";

Наполеон говорил "война", Александр — "мир". Гордости и самовлюбленности врага противопоставлены были скромность и смирение. Он не приказывал, как Наполеон, а деликатно просил, но так, чтобы эта просьба исполнялась охотнее и быстрее, чем приказание. Наполеон хотел, чтобы перед ним трепетали, Александр ставил задачей быть любимым. "Увидим, что лучше: заставить себя бояться или любить", — сказал он в Вильне, в декабре 1812 года, замышляя поход на Париж. Отсюда джентльменское обращение с врагами и со всеми чужеземцами вообще.

Союзники часто становились в тупик, не будучи в силах понять поведение "Агамемнона". Так, Кестльри, за месяц до взятия Парижа, с тревогой доносил лорду Ливерпулю об "опасном рыцарском настроении" Александра. "В отношении к Парижу, — писал Кестльри, — его личные взгляды не сходятся ни с политическими, ни с военными соображениями. Русский император, кажется, только ищет случая вступить во главе своей блестящей армии в Париж, по всей вероятности для того, чтобы противопоставить свое великодушие опустошению собственной его столицы".

Вступая в Париж, он отменил оскорбительный обряд поднесения ключей города и сделал все для пощады национального самолюбия жителей. Он спас Лувр от расхищения и Вандомскую колонну от ярости роялистов. Позднее, в 1815 году он воспротивился намерению прусского генерала Блюхера взорвать Иенский мост через Сену. В то время, как Наполеон отдал приказ через генерала Жирардена, при отступлении своих войск из Парижа, взорвать гренелльский пороховой погреб, отчего половина столицы могла взлететь на воздух, Александр предложение капитуляции мотивировал желанием спасти Париж от бомбардировки.

Это желание нравиться чужим народам — отличительная черта Александра I. Можно думать, что знаменитые конституционные мечтания юных лет рассчитаны были на завоевание популярности в Европе. Идея предстать перед нею более свободолюбивым, чем Наполеон, заключала одно из средств борьбы с ним. Только этим и можно объяснить, что, не дав русскому народу никакого государственного преобразования, он щедро раздавал конституции Ионическим островам, Финляндии, Польше, да не какие-нибудь, а самые либеральные,

самые "передовые". Он же настоял и на даровании "Хартии" французам при воцарении Луи XVIII.

* * *

Само собой разумеется, чтобы соперничать с Наполеоном, надо было самому быть недюжинным человеком, и Александр впоследствии получил высокую оценку от своего противника. "Русский император, — говорил Наполеон, — человек несомненно выдающийся; он обладает умом, грацией, образованием. Он легко вкрадывается в душу, но доверять ему нельзя... Это настоящий грек древней Византии".

Кроме огромных дипломатических способностей и умения неуклонно стремиться к поставленной цели, он отличался еще одним несравненным даром, которым, пожалуй, никто из деятелей его времени не обладал, — искусством привлекать и очаровывать людей. "Это сущий прельститель", — сказал о нем Сперанский. Не отдельных лиц, но целые народы умел он располагать к себе и держать под обаянием своей личности. Сам Бонапарт, повидимому, испытывал на себе силу его чар, признавшись: "Быть может, он меня лишь мистифицировал, ибо он тонок, фальшив и ловок".

Из всех прозваний, данных Александру, — "Сфинкс", "Блестящий метеор севера", "Коронованный Гамлет" — самым метким надо признать то, которое дал Наполеон: "Северный Тальма". Тальма — знаменитый актер того времени. Действительно, вся жизнь этого человека была сплошная игра, сплошной ряд перевоплощений и эффектных сцен. Поражать, изумлять, производить впечатление — было его страстью.

Жителей Вены в 1815 году он привел в неистовый восторг, встав во главе гвардейской части и салютуя обнаженной шпагой императору Францу. Никто лучше его не умел заставить говорить о себе в желательном для него смысле. Так, слухи о его склонности к католицизму поддерживались искусно разыгранными сценами, вроде той, когда он вдруг опустился на колени перед католическим прелатом князем Гогенлоэ. Был также случай в маленьком польском местечке, когда священник, войдя в пустой костел, увидел перед

амвоном молитвенно склонившегося русского офицера, оказавшегося императором всероссийским.

До какой степени игра проникала всю его жизнь, можно судить по эпизоду в Вильно в 1812 году. Два офицера, боясь опоздать на церемонию во дворце, после которой должно было состояться богослужение в присутствии императора, решили пройти в зал кратчайшим путем через пустую церковь. Лакей остановил их: там государь. Что же государь может делать в пустой церкви? Он репетирует богослужение. Вопрос о том, как стоять в церкви и какую принять осанку, имел не меньшую важность, чем указ о вольных хлебопашцах.

И, конечно — костюм. Ни один из русских царей не был внимателен к своей наружности больше, чем Александр. Черный мундир он носил единственно потому, что это выгодно оттеняло белизну его лица. Все мемуаристы отмечают переменную, происшедшую в главной квартире в Вильно, когда туда прибыл император. Во время тарутинского сидения и всей эпопеи преследования Наполеона сам Кутузов и весь штаб вели спартанский образ жизни, простота в одежде дошла до предела: офицера порой трудно было отличить от солдата. С приездом царя и его свиты опять заблестали мундиры, аксельбанты, шитье, плюмажи. Император выходил всегда подтянутый, аккуратный, блестящий. Таким он прошел через всю Европу. На поля сражений являлся разодетым, как на бал, и вел себя там, как на подмостках. Принимая под Кульмом шпагу от взятого в плен маршала Вандама, он бесподобно, по всем правилам классической драмы, разыграл эту сцену.

С. П. Мельгунов абсолютно прав, говоря, что "Александр останется в истории фигурой поистине примечательной, ибо такого артиста в жизни редко рождает мир, не только среди венценосцев, но и простых смертных".

Историки лишь в XX веке начали обращать должное внимание на актерскую черту в облике Александра I, но и те из них, которые это делали, как М. В. Довнар-Запольский и С. П. Мельгунов, далеки были от мысли видеть в ней разгадку "сфинкса". Между тем, вряд ли будет ошибкой сказать, что все обличья, которые попеременно надевал на себя этот человек в продолжении своего царствования, были театральными масками. Подобно тому, как отдельным людям он стремился говорить то, что им было приятно, так и перед

всем миром любил предстать в том одеянии, которое было модно. В эпоху Конвента и Директории он был чуть не якобинец, после уничтожения республики, когда из всего ее наследства уцелела, главным образом, идея конституционализма, он стал ее ревностным поборником. И позднее, после низложения Наполеона, когда мистицизм становился повальным увлечением, он устраивает во время смотра русской армии близ Вертю настоящий триумф баронессе Крюденер — тогдашней богородице мистических салонов Европы.

”Царственный мистик”, каким он становится в последнее десятилетие своего правления, был все тем же ”северным Тальма”, только в новой роли. И все эти роли были не русско-го, а западного репертуара, да и разыгрывались, главным образом, перед западной публикой. Как провинциальный актер, рвущийся откуда-нибудь из Харькова на столичную сцену, Александр стремился на Запад.

Думается, что французы и поляки особенно любезны были его сердцу как раз потому, что это — самые ”театральные” народы, наиболее падкие до внешнего блеска, красивой фразы и позы. Именно у них он пользовался наибольшим успехом. Барону Витролю он сказал, что после взятия Парижа у него не будет других союзников, кроме французского народа. К французам он прежде всего и ревновал своего противника. Говорят, когда пришло известие о возвращении с Эльбы, Александр взволнован был не фактом нового появления Бонапарта в Европе, а восторженным приемом, оказанным ему парижанами. Давно ли Париж целовал стремяна ему, Александру? И вот, целует их сопернику. Предательство Меттерниха и Кестльри — ничто, в сравнении с такой изменой.

* * *

В успехе Александра его актерский талант сыграл, примерно, такую же роль, какую военный гений — в возвышении Бонапарта. Но надо ли пояснять разницу между двумя этими славями? Сейчас, через полтора-два десятилетия, подвиг Александра выглядит пиротехническим эффектом, пустой вспышкой. Он не сделал свою страну более великой, чем она была и даже не указал ей истинного пути к величию. За разыгранной им феерией кроется историческая трагедия России.

Сделавшись при Петре державой европейской, она усвоила во многом ложный взгляд на свой европеизм — не поняла, что ее победы должны одерживаться не под Кульмом и Лейпцигом, а на полях лицейских. Хотя она, в течение XVIII века, сделала изумительные успехи в усвоении культуры, они все еще были недостаточны, чтобы покрыть путь, пройденный Европой за тысячу лет. Никакие взятия Берлинов и Парижей не в состоянии были сделать ее европейской страной, пока не взята приступом собственная Чухлома. Ее называли "страной будущего", но она любила забегать вперед и делать в настоящем то, что могло быть сделано только в будущем. В своем положении неопита она не имела никаких специальных интересов на Западе, и до наступления культурной и экономической зрелости ей надлежало воздерживаться от политической активности в семействе великих держав. Вместо этого, она постоянно вовлекается в чужие распри и всеми действиями обнаруживает отсутствие у нее собственной доктрины внешней политики. Такая доктрина была у допетровской Руси, она есть у СССР, но ее не было у императорской России. Дипломатические и военные демарши никогда серьезно не обдумывались. Сегодня приходило на ум послать русскую армию в Пруссию, против Фридриха II, завтра в Италию для изгнания французов, послезавтра приказ: "Донскому и Уральскому казачьим войскам собираться в полки, идти в Индию и завоевать оную". Огромная страна шла на поводу у чужой дипломатии, становилась жертвой политических фантазий, а то и родственных связей царей с гольштинскими, ольденбургскими, вюртембергскими, мекленбургскими домами.

Величайшим образцом ненациональной, негосударственной внешней политики останутся войны Александра с Наполеоном. Уже в 1805 году, когда они начались по инициативе русского императора, все мыслящие люди охвачены были тревогой. "Никогда не забуду своих горестных предчувствий, — писал Карамзин, — когда я, страдая в тяжелой болезни, услышал о походе нашего войска... Россия привела в движение все силы свои, чтоб помогать Англии и Вене, то есть служить им орудием в их злобе на Францию, без всякой особенной для себя выгоды".

Национальная выгода подменялась личной прихотью государя, а здравый смысл — тщеславием. Насколько русская

политика на Востоке вытекала, за редким исключением, из жизненных интересов и реальных задач империи, настолько участие в европейских делах не имело под собой рационального основания. И как знать, не от того ли погибла императорская Россия, что вступила в мировую войну не во имя своих, а чужих интересов?

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РОССИИ

Для юбилейных торжеств существуют какие то непреложные числа. Никто не сомневался в законности празднования тысячелетия России. Но тысяча и сто лет уже нуждаются в оправдании, по крайней мере, в объяснении. Неужели потом праздновать тысячадвухсот и тысячатрехсот-летие? Сарказм этих вопросов был бы законен, если бы между 1862 и 1962 годами не произошло величайшего события, стершего с лица земли самое имя России.

Вот уж сколько лет обсуждается вопрос: жива она или погибла. Многие давно простились с нею, полагая, что у теперешнего государства никакой преемственности, кроме территориальной, со старой Россией не существует. Не будем отрицать ни правильности, ни ошибочности такого суждения. Самые глубокомысленные наши заключения и прогнозы, не больше как гадания, необязательные для истории. Последнее слово останется за нею и мы не знаем какое это будет слово.

При таких обстоятельствах, законно и человечно, чтобы родившиеся в России, видевшие ее воочию, связанные с нею сыновними узами, могли не ждать второго тысячелетия, но воспользоваться новой протекшей сотней лет, чтобы пережить, собравшись вместе, свою к ней близость.

Если она в самом деле умерла, то как не вспомнить слов, сказанных более пятидесяти лет назад: «Счастлиую великую родину любить не велика вещь. Мы ее должны любить именно, когда она слаба, мала, унижена, наконец глупа, наконец, даже порочна. Именно, когда наша мать пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, мы и не должны отходить от нее. Но и это еще не последнее: когда она наконец умрет и будет являть одне кости — тот будет «русский», кто будет плакать около этого острова, никому ненужного и всеми плюнутого».¹

Пришло ли время для такого плача — не знаем. Знаем, только, что Россия — исторический факт. Как барельеф, как древняя надпись, врезана она в скалу мировой истории и далеко не все, старшие по возрасту страны, могут похвастать такой глубиной оттиска оставленного в веках. За последние 250 лет ее участия в европейской жизни, не было ни одного мирового события, в котором бы она не играла видной, иногда решающей роли. Какова была бы судьба Европы при Наполеоне, не будь России? Чем бы кончились обе мировые войны без ее участия? И не живем ли мы в эпоху, когда участь земного шара определяется событием, происшедшим в России 45 лет тому назад?

Ее мировая роль пробудила интерес к ее далекому прошлому, на которое раньше никто не обращал внимания. Теперь всем хочется знать, какова была колыбель гиганта.

От территории и численности народонаселения до проявлений духовной жизни — она действительно гигант. Даже свой вклад в мировую культуру внесла рукой великана. У нее, в сущности, и было одно только столетие культурного цветения; все, что сделано значительного в литературе, в музыке, в театре, в науке, в философии — падает на девятнадцатый век. Это отмечено Полем Валери, как одно из трех чудес мировой истории. Русское девятнадцатое столетие он ставит в один ряд с такими явлениями, как древняя Греция и европейский

¹ В. Розанов — Опавшие листья.

Ренессанс. Этот век в самом деле похож на чудо. С ним Россия не только стала вровень с просвещенными странами, но и сделать успела столько, сколько за целые века. Да не упрекнут меня за избитое сравнение русской истории с Иллей Муромцем, сиднем сидевшим тридцать лет, прежде чем начать совершать подвиги. Но чем, как не ответом на многовековое сидение России явился девятнадцатый век?



Нам не открыт смысл истории и у нас нет критерия для оценки пути отдельных народов. Но если просто спросить, что прежде всего бросается в глаза при обозрении русской истории, ответ нетрудно предвидеть: ее парадоксальность, непохожесть на историю других стран. Хотя советской историографии поставлено требование унифицировать ее с западноевропейской историей, но без насилия над фактическим материалом эта задача невыполнима.

Россия первая свергла капитализм, но капитализма в ней, почти, не существовало. В ней не было пролетариата, но произошла пролетарская революция. Европейские социалисты глубоко ее презирали, но именно в ней победил социализм и величайшему русофобу К. Марксу поставлен, недавно, памятник в Москве. Часть ее населения до сих пор живет в полуразвалившихся избах и мазанках, но она первая завоевала космос. У нее есть Пушкин, Лобачевский, Лев Толстой, Менделеев, Павлов, Глинка, Мусоргский, но она слывет варварской. У нее было многочисленное дворянство, но западно-европейские дворяне не считали его себе ровней. Не ровня был и русский крепостной крестьянин западному. Тамошнее крепостничество выросло естественным путем из старого римского рабства и из завоеваний; в России оно создано сверху актом государственной воли. Существовала в России сильная монархическая власть, но европейский абсолютизм подчеркивал свою отличную от нее природу. Западные монархии были сословными, выросли из феодализма и в борьбе с ним; русская монархия возникла в

стране, где феодализма не было, да и сословий никаких, в момент ее появления, не существовало. В России не сословия создавали власть, а власть создавала сословия. Когда Сталин, в 1912 г., приспособлял австро-марксистскую схему для разрешения национальной проблемы в России, он так и не смог подогнать русское многонациональное государство под соответствующие европейские образцы. Там многонациональному государству предшествовало государство одной национальности, подчинявшее себе другие народы. Русское государство возникло сразу, как многонародное, и в нем не было господствующей нации.

Похоже, что все теории социального, государственного-политического развития, созданные на основе изучения западно-европейского исторического процесса, неприменимы к истории русской. Как тут не вспомнить тютчевское «умом Россию не понять»? Во всяком случае, она до сих пор загадочная, наименее понятая страна.



Главным предметом интереса историков при изучении русского прошлого была история государства. По словам В. О. Ключевского, «вековыми усилиями и жертвами, Россия образовала государство, подобного которому по составу, размерам и мировому положению не видим со времен падения Римской империи». Про него, еще в XII веке, краковский епископ Матвей писал, что оно, «как бы другой мир земной».

В XIX и XX столетиях русская государственность подверглась величайшему поношению и поруганию со стороны европейской и русской революционной публицистики. Но объективной исторической науке ясно, что без нее не было бы ни русского девятнадцатого века, ни самой России. Все, кто, вопреки анархизму, продолжают видеть в государстве высшую из известных форм человеческого общежития, не могут не усматривать величайшего культурного события в факте возникновения на востоке Европы самой крупной и самой ранней средневеко-

вой империи, если не считать эфемерной империи Карла Великого. Это тем более, что в отличие от европейских государств, Россия возникла не на почве, удобренной римской культурой, а в лесах и болотах. То была, поистине, «поднятая целина». Ни у Олега, ни у Владимира не было, как у Теодориха остготского, советников, вроде ученого римского сенатора Кассиодора. До всего доходили собственным разумом, каждый опыт оплачивался кровью. России дорого обошлось ее окраинное положение. И если, вопреки всему, произошло включение огромного первобытного пространства в сферу цивилизации, если возникшее государство оказалось, все-таки, государством европейским, то не злобы и насмешек невежественных журналистов достойно оно.

* * *

Прежде, чем назваться русским, оно носило много других названий. Этому дорусскому периоду отводили в прежних курсах истории не больше двух-трех страниц, и говорили о нем, как о чем-то мало касавшемся России. Только ранние русские историки — Татищев, Байер, Ломоносов, связывали его с отечественной историей. Новейшая историография обнаруживает много склонности итти по их стопам и начинать нашу историю не с Рюрика, а с VI-VII веков до н. э. Мы все чаще раскрываем IV книгу Геродота и все больше видим в нем первого русского историка. В скифах, сарматах, готах, гуннах таится наше прошлое.

Невозможно не задуматься над тем, что все дорусские государственные образования занимали, приблизительно, ту же территорию, на которой утвердилась империя рюриковичей. Очертания ее сложились задолго до Олега, Святослава, Владимира. Стояли ли во главе его скифские и сарматские цари или готские и гуннские владыки, власть их неизменно простиралась на земли, раскинувшиеся от Черного до Белого морей и от Прибалтики до Поволжья. Нам не трудно понять такое очертание границ. На всем этом пространстве не было сгустков

населения, способных дать отпор вражескому нашествию. Необъятная лесостепная равнина, лишенная путей сообщения, с поселками и городами, отстоящими на сотни верст друг от друга, была легкой добычей для всех собирателей дани. Всю ее могла покорить небольшая, хорошо слаженная дружина.

И покоряла. Ее предистория являет картину рассыпанного беспомощного населения, тысячелетиями не выходившего из-под даннического ярма сарматов, готов, аваров, хозар. Какая бы новая сила ни становилась во главе страны, она неизменно стремилась дойти до ее естественных пределов, каковыми являлись, первоначально, пределы собирания дани. Если существуют законы истории, то один из них надо усматривать в географических очертаниях Государства Российского.

В наши дни широкого распространения мифа об извечном русском империализме и захватничестве, небезинтересно отметить факт образования русского Lebens-Raum задолго до появления Руси. Она велика от рождения, а не в силу завоевания. Создание империи рюриковичей, как оно изложено в летописи, похоже не на завоевание, а на государственный переворот. Князья покоряли не свободные народы, а перенимали власть над ними от прежних державцев. «Не дайте хозарам, дайте мне», — говорил им Олег. Самим народам, видимо, безразлично было, платить ли хозарскому кагану или новгородскому конунгу.

С тех пор, как продукция земледельческого и охотничьего труда стала предметом экспроприации, на территории России не переводились хищные ватаги, вроде «царственных скифов», считавших, по словам Геродота, всех остальных своими рабами.

В литературе не раз высказывалась мысль, что рассматривать их надлежит не с этнографической, а с социально-политической точки зрения. В них видят больше военные организации, чем национальности. Похоже, что между ними существовала преемственность. Сарматы, например, безусловно вошли в состав готской дружины. То же и хозары. Полагают, что значительная часть их прим-

кнула к своим победителям руссам и под новым именем продолжала нападать на Византию, грабить Персию и хозяйничать среди подвластных племен. Высказано мнение, согласно которому никакими пришельцами все эти собиратели дани не являлись, но возникали поочередно из гигантского этнического котла, каким была во все времена великая русская равнина. Это необходимо иметь в виду при рассуждениях о чужеземном начале в образовании русского государства.

* * *

Вот уже двести лет идет спор о первых князьях: скандинавы они или славяне? Спор вызван национальным высокомерием немецких историков и оскорбленным патриотизмом русских. Но уже к XX веку он утратил научный интерес. Возобновление его после второй мировой войны в СССР объясняется вмешательством в науку партийных коммунистических учреждений. До войны ни один серьезный историк вопросом призвания князей не занимался, хотя бы потому, что давно никаких новых источников в научный оборот не поступало, при наличии же имеющихся он неразрешим. До сих пор не установлено — факт это или легенда. Не установлена личность Рюрика, не говоря о его братьях Синеусе и Триворе. И уж, конечно, год их «призвания», указанный в летописи, принимается условно.

Рассказ летописца о начале Руси В. О. Ключевский назвал «схематической притчей о происхождении русского государства, приспособленной к пониманию детей младшего возраста». Академик Куник давно обратил внимание на существование легенд и песен у различных народов о призвании князей, очень похожих на наше летописное сказание. Даже слова: «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет, да поидете княжить и володеть нами», кажутся заимствованными из рассказа Видухинда о призвании Англо-Саксов, до того похожи они на то, что сказали Бритты Генгисту и Хорсе. Роль бро-

дяхих сюжетов в историческом повествовании столь же велика, как и в народной поэзии.

Несомненный бродячий сюжет надлежит видеть в легенде об основании Киева. Армянская рукопись VIII века, обнаруженная Н. Я. Марром, повествует о построении в Закавказье города того же, почти, названия, с участием неизменных трех братьев, из которых двое, Куяр и Хореан, почти аутентичны с нашими Кием и Хоривом. Имя же сестры их, в переводе с армянского, означает лебедь (наша Лыбедь).

Важнейшим результатом спора норманистов с анти-норманистами было признание его несерьезности. Выяснилось, что если первые князья в самом деле были варягами, а не славянами, как утверждали Ломоносов, Забелин, Гедеонов, то вряд ли им надо было переплывать Балтийское море, чтобы прийти на Русь. Варяжские поселения в нашей стране существовали с давних пор — в Приладожье, под Полоцком, под Смоленском, под Черниговом. Проф. П. Смирнов собрал обильный материал, позволивший ему утверждать факт существования в VIII веке варяжского каганата на средней Волге. Проф. Г. В. Вернадский высказал мысль о таком же каганате на Дону и в Приазовье. Пора усматривать в варягах свой отечественный элемент.

К тому же, версию о германском гении, как учителя и устроителя земель диких славян, стало трудно отстаивать; в новейшей литературе считается установленным, что все превосходство варягов заключалось в их боевых качествах, культурно они стояли ниже многих племен тогдашней России и быстро растворялись в их среде. Известно, наконец, что государственность в России существовала задолго до Рюрика. Житие Стефана Сурожского упоминает о каком то русском князе Бравлине, жившем чуть ли не за сотню лет до новой династии. Летопись называет имя Гостомысла. Из договоров Олега и Игоря с греками можем заключить, что еще в X веке, во всех племенных центрах сидели свои князья «под Ольгом суши». Эти родо-племенные правители, вроде древлянского Мала, вроде вятического Ходоты, были

истреблены, с течением времени, и заменены рюриковичами, но это нисколько не колеблет факта, что новая династия пришла на готовое.

Не будучи создательницей родоплеменной государственности, она не была и создательницей имперской формы. Та и другая выкристаллизовались до нее. Вопрос же о том, были эти новые князья славянами или норманами, не имеет значения. Важно, что они наши предки. Расовая точка зрения — наименее русская из всех.

Историков больше занимает вопрос о характере их власти, совершенно исключительной, приближающейся к власти позднейших абсолютных монархов. Недаром в некоторых летописных сводах они именуются самодержцами. Никакого самодержавия ни в киевские, ни в удельные времена наука не признает, но она издавна обращала внимание на отсутствие общественных сил, оспаривавших у князей власть или инициативу. На протяжении всей тысячи лет не видим ничего похожего на общественность в том смысле, в каком она существовала на Западе — ни феодальных сеймов, ни городских общин, ни, даже, дворянской фронды. Дворянство, городское сословие, самые города — суть создания государственной власти. По словам П. Н. Милюкова, русский город «не был естественным продуктом внутреннего экономического развития страны». «Раньше, чем город стал нужен населению, он понадобился правительству». Даже в XIX веке крупная капиталистическая промышленность «искусственно создана была государством». Городское самоуправление возникло не в силу активности соответствующих социальных групп, а «даровано» — установлено сверху.

Исследование А. Е. Преснякова о княжеском праве в древней Руси обнаружило в нем источник всех институций — военных, административных, экономических и социальных. Даже знаменитые вечевые порядки представляются результатом княжеской политики. Все, что было «общественного», вроде крестьянского самоуправления, земских соборов, пореформенных земств — обязано своим бытием государственному законодательству. По-

литические же партии у нас, по меткому замечанию П. Я. Рысса, были не столько партиями, сколько литературными течениями. Вот почему в русской истории не найти фигур, подобных Этьену Марселю или принцу Кондэ. Русские оказались самым необщественным народом. Дьяк Иван Тимофеев, еще в XVII веке писал: «Такой недуг укрепился в нас от слабости страха и от нашего разногласия и небратолюбивого расхождения: как отстоит город от города или какие нибудь местности, разделенные между собой верстами, так и мы друг от друга отстоим в любовном союзе, и каждый из нас обращается к другому хребтом — одни глядят к востоку, другие к западу». «Русский человек лучше русского общества» — сказал Ключевский.

Эта особенность русской жизни давно занимает политические умы. В наши дни она служит предметом усиленной работы теоретической мысли, выражаясь в учениях о влиянии способа пеленания детей на характер народа, о врожденной инертности и рабской натуре русского человека, о «чингизхановском социализме», якобы усвоенном русскими на заре своей истории, о происхождении русской государственности из восточных деспотий. Разрозненные и несогласованные друг с другом, эти учения укладываются постепенно в привычное русло расовой теории и русофобии Альфреда Розенберга. Объявить русских унтерменшами куда как приятнее и легче, чем доискиваться исторических причин слабости в России общественного начала и силы государственной власти. Около семидесяти лет тому назад П. Н. Милюков высказал взгляд, по которому раннее возникновение сильной власти и раннее собирание Руси вызваны слабостью страны и потребностью самозащиты. «На востоке Европы, — утверждал он, — государственная организация сложилась раньше, чем мог ее создать процесс внутреннего экономического развития. Напротив, в западной Европе государственный строй явился результатом внутреннего процесса. Европейское общество и государство строились, так сказать, снизу вверх. Централизованная государственная власть там действительно яви-

лась, как высшая надстройка над предварительно сложившимся средним слоем феодальных землевладельцев, который в свою очередь вырос на плотно сложившемся низшем слое оседлого крестьянского населения. У нас же, особенно в северо-восточной Руси, общество строилось сверху вниз».

На слабое, не начавшее еще жить общественное тело российских племен, надеты были железные доспехи необозримого по размерам государства. Они служили как бы формой для его роста. Как непохоже это на германские племенные государства, возникшие на захваченной римской территории! Масштабы их соответствовали величине и силе племен, и никакой надплеменной схемы над ними не было. В России с незапамятных времен образовалась полярность между племенным и имперским началом, между провинциальным и централизованным управлением, между ограниченностью местных интересов и широким имперским кругозором. Не только в общественном, но в культурном, в экономическом, во всех других планах, русская история похожа на проект грандиозного здания, рассчитанного на многовековое строительство. В то время, как германо-романская Европа давно построила свои уютные домики и наслаждается жизнью, российская храмина созидалась медленно, как циклопическое сооружение.

Можно, конечно, вступать в спор с историей, доказывать нелепость, «непрогрессивность» такого строительства, можно возмущаться насилиями хозар, варягов, князей, бояр, но одного нельзя сделать: доказать, что русская история шла не тем путем, каким следовало. Пушкин — величайшее порождение и оправдание этой истории понимал нелепость отказа от нее.

Не будем требовать такого же понимания от современных партийных доктринеров, не придумавших для выдающихся ученых, видевших в государстве демиурга русской истории, иного определения, как «реакционеры». Трудам этих исследователей мы обязаны уяснением сокровенных черт русского исторического процесса. Даже руководители советского научного «фронта» вынуждены

с давних пор соглашаться с тем, что централизованное государство у нас «складывалось ускоренно, опережая экономическое развитие и образование нации».

Стоило ли так долго бранить Милюкова, чтобы втихомолку принять его идею? Это ли не капитуляция перед «буржуазно-дворянской» историографией?

России выпала доля — итти путем подчинения частного общему, личного государственному. Казалось бы, это и есть тот путь рабства, о котором твердят ее хулители. Он и был бы таким, яви она пример тысячелетней неподвижности, затвердения принципов власти и покорности. Но Россию не случайно сравнивали всегда с военным лагерем, ведшим отчаянную борьбу на все стороны. С каких пор «господство и подчинение» на войне обозначается словом «рабство»? Высшее в человеке не убивается борьбой. Сохранил свою внутреннюю свободу и русский народ. Устремлением к вершинам духа и творчества отмечено все его прошлое.

География, экономика, этнографическое окружение, удаленность от очагов культуры, обрекали его на вековую отсталость, на исключительно медленное развитие. Но он спасен историей — волевым преодолением хаоса. Некий всадник «уздой железной» стремил коня к высокой цели. Не с одним петровым именем связано вздергивание России на дыбы. Его мы видим уже при Владимире, при Ярославе, при обоих Иванах. Воистину, монумент на Сенатской площади — символ нашей истории. Так воспринят он всеми способными к алгебре исторических обобщений. Только для тех, что не пошли дальше цифири политической арифметики — он аллегория насилия и рабства.

Что русский народ терпел не мало насилий, это верно, но рабское ли то было терпение?

Не права ли русская поэзия, почувствовавшая в нем возвышенное начало? Не угадывал ли народный инстинкт, что другого пути, кроме того, которым она шла, нет для России? Даже Плеханов признал, что «полное подчинение личности интересам государства не было вызвано какими-нибудь особыми свойствами русского

«народного духа». Оно явилось вынужденным следствием тех условий, при которых пришлось вести борьбу за свое историческое существование русским людям».

Сохранение национальной независимости, обретение культуры — вот ценности, покрывавшие «вековые усилия и жертвы». Один девятнадцатый век способен оправдать издержки всех предыдущих столетий. Такое же оправдание явлено стремлением к воссоединению с русским народом тех его частей, что пробыли долгое время под польским и под мадьярским игом.

* * *

И только ли насилие и деспотизм отличают русское государство? В какой другой истории встречается образ царя, едущего в чужие края за наукой, за просвещением для своего народа? Еще в Скифии, где предвосхищены главные мотивы русской истории, встречаем его. Геродот сохранил нам имя царя Анахарсиса, отправившегося в Элладу посмотреть ее города, храмы, богов и героев, чтобы перенести греческое великолепие в родные степи. Это совсем, как Петр. Но были еще княгиня Ольга и Владимир.

Владимир ходил войной, но целью были христианизация и просвещение. Возникшая при нем православная церковь, будучи тоже созданием государственным, явилась единственным учреждением, чью роль можно сравнить с ролью самого государства. Начать с того, что вместе с христианством она принесла на Русь культуру, неотделимую в средние века от церкви. После татарского погрома, она очутилась в положении единственной всероссийской власти. Разрозненное нашествием население смотрело на митрополита всея Руси, как на символ прежнего единства. В самую мрачную пору России, церковь спасла это единство. Она же верно угадала и освятила своим авторитетом тот новый центр, вокруг которого началось объединение. Трения бывшие у нее, иногда, с царями и великими князьями означали не столкновения власти с церковью, как с институтом, но с отдель-

ными неудачными ее представителями, вроде строптивного патриарха Никона, либо митрополита Исидора, принявшего флорентийскую унию. Следует признать величайшим недоразумением, распространенное мнение о порабощении ее государством. Она была слишком слаба в языческой варварской стране, чтобы успешно выполнять свою миссию без помощи государственной власти, она сама искала ее покровительства. Даже догматические и канонические вопросы выносила на ее суд и утверждение. Это имело место как в «царской» Москве, так и в «вечевом» Пскове. Именно из веча Пскова изшло учение о «Третьем Риме», по каковому учению, московскому царю приписывалась миссия защитника и устроителя правой веры. Церковь не только не противопоставляла себя государству, но мыслила себя монистически слитой с ним. Правительству не было необходимости «поработать» ее.

* * *

Одна черта русского государства заслуживает специального упоминания — это его многонациональность. В вульгарном представлении, она результат «русской экспансии» с целью колониальной эксплуатации. Но мы знаем, что она досталась Руси в наследство от сарматско-готско-хозарского прошлого.

Народы русской равнины тысячелетиями привыкли жить под одной властью, под общей государственной крышей. У Иордана находим упоминание о Мордве, Мери, Веси, Эстах и Обонежской Чуди, которые уже в IV веке входили в состав державы Германриха, простиравшейся на всю эту равнину. Вряд ли можно сомневаться, что готская держава, как все предыдущие, и последующие, являлась не государством определенной народности, но возглавлялась вооруженной кликой. В киевском государстве, во всяком случае, трудно указать властвующую народность. Славяне? С них брали такую же дань, как с прочих земель, а с древлян, однажды, хотели взять двойную. Даже первая столица государства, Новгород, платила, как прочие города. Никаких

специально славянских привилегий не существовало. Не было их и в Литовско-Русском государстве, возникшем после падения Киевского. Ни одна из составлявших его национальностей не являлась ни господствующей, ни подчиненной. В великом княжестве Московском, представлявшем с самого начала русско-татарско-финскую землю, наблюдался при Василии Темном такой наплыв татар на московскую службу, что русские чувствовали себя отодвинутыми на второй план. Татарский царь Симеон Бекбулатович посажен был Иваном Грозным в качестве царя для «земщины», а во время династического кризиса 1598 г. имел шансы выступить кандидатом на всероссийский трон, по каковой причине навлек на себя гонения со стороны Бориса Годунова.

Национальный характер власти сохранился и в Российской Империи. Достаточно спросить, какое дворянство стояло ближе к трону, русское или прибалтийское? Анекдот про какого то генерала, будто бы просившего чтобы его произвели в немцы — характерен. Когда Ю. Ф. Самарин написал книгу, разъяснявшую русскому обществу, что Прибалтика лишь номинально числится за Россией, а фактически принадлежит немцам, он не мог издать ее на родине, она вышла в Праге и подверглась запрещению в России, автору же сделан строгий выговор.

Власть открыто стала на немецкую точку зрения, по которой Прибалтика принадлежит не России, а императорской короне.

На таких же основах покоилась привязанность прочих нерусских земель.

Кн. А. М. Горчаков рассказывал: «Знаете одну из особенностей моей деятельности, как дипломата? Я первый в своих депешах стал употреблять выражение «Государь и Россия». До меня не существовало для Европы другого понятия, по отношению к нашему отечеству, как только: «император». Граф Нессельроде даже прямо мне говорил с укоризной, для чего я это так делаю? «Мы знаем только одного царя, говорил мой предместник, нам нет дела до России».

Граф Нессельроде, занимая самый высокий пост канцлера российской империи, ни слова не знал по-русски и знать не хотел. Не знали, также, Поццо ди Борго, русский представитель на Венском конгрессе, и многие другие высокие чиновники русской службы. Кн. Адам Чарторыйский, ненавидевший Россию, по его собственным словам настолько, что отворачивал лицо при встрече с русскими, сделан был руководителем внешней политики России.

В какой другой стране возможно такое?

При Александре I одного русского выслали из Петербурга за проявление русского патриотизма. При Александре II по такому же поводу выслан был И. С. Аксаков.

Русский национализм находился под одинаковым подозрением, что и национализмы других народов. Он никогда не совпадал с идеологией «официальной народности» с ее трехчленной формулой «самодержавие, православие, народность». «Народность» там понималась туманно, отнюдь не в этнографическом смысле, а больше, как умонастроение. К ней относилось все преданное престолу, независимо от национального обличия и веры. Не лишне отметить, что столпами этой идеологии явились, преимущественно, лица не русского происхождения — Бенкендорф, Булгарин, Сенковский, Греч. Славянофилы относились к ней столь же отрицательно, что и западники.

Русская государственность никогда не связывала себя с национальными интересами какой-нибудь подвластной народности. Конечно, все три ветви русского народа, вместе взятые, составлявшие больше 80% населения, не могли не производить впечатления национальной опоры трона и предмета наибольших забот со стороны власти. Но такое впечатление ошибочно. Власть усматривала свой долг не в удовлетворении национальных претензий, а в попечении о «благоденствии».

Когда в доказательство национального угнетения малых народов приводят случаи репрессий против выступлений националистических партий, то обычно под-

даются соблазну модернизации. Природу этих репрессий лучше всех понял В. А. Маклаков, полагавший, что царизм «угнетал национальности не потому, что они были иноплеменные, а потому, что они были «общество», которое должно было иметь один только долг — повиноваться». Такого же долга требовал он от русской народности. «Чистое самодержавие», по словам Маклакова, не понимало смысла национальной проблемы по причине равенства в его глазах всех национальностей.¹ Этим объясняется широкое допущение их в состав русской знати и служилого люда, состоявших, чуть не на три четверти, из неславянских элементов. Если же принять во внимание ассимиляцию Мери, Веси, Чуди, Мещеры, Муромы, Татар, Половцев, Печенегов, Торков, Берендеев и других тюркских и финских племен, то русский народ лишь условно можно причислить к славянству. Этого народа не было в момент образования государства. Среди Полян, Древлян, Северян, Вятичей, невозможно найти племени по имени Русь.

* * *

Подобно варяжской проблеме, вопрос о значении и происхождении слова «Русь» принадлежит к числу неразрешимых, при существующем состоянии источников и существующих методах исследования. Одно ясно, оно не может быть связано с так называемым призыванием князей. Оно встречается задолго до 862 года.

В летописные времена Русью называлось не племя, а государственная верхушка — князья, княжи мужи, дружинники. Все это были выходцы из различных семейств, родов, племен и народов, порвавшие с первобытным укладом, с местной ограниченностью, положившие начало новым формам жизни и культуры. Никто не возьмет смелости утверждать, будто славянский элемент преобладал в этой среде. Скорей наоборот. Там видим в большом количестве варягов, финнов, венгров и всяких

¹ В. А. Маклаков — «Власть и общественность на закате старой России».

степных выходцев. В 979 г. «прииде печенежский князь Ильдея и би челом Ярополку в службу; Ярополк же прият его и даде ему и грады и власти и имяше его в чести велицей». Под другим годом: «прииде в Киев печенежский князь Кучюг и восприя веру христианскую и крестися... и со всяцем повиновением праведно служиша благочестивому самодержцу». Через Тьмутороканское княжество к нам шло множество хозарских, кавказских, греческих элементов. Мстислав Владимирович в 1024 г. вывел оттуда свой двор и дружину, состоявшую из Аланов, Ясов и Касогов. Все это, оседая в Поднепровье, становилось не славянами, а Русью.

На всем пространстве киевской империи имя Руси означало государственность и культуру. Выработавшийся под его знаменем народ сделался государственным народом, носителем надплеменного, надрасового начала. Культура его не могла быть местной, связанной с отдельным племенем. В нее вошло все значительное, что обреталось на великой русской равнине, но вошел, также, опыт Запада и Востока. Даже церковно-славянский язык, послуживший основой для развития русского литературного языка, был не местный, но принесен извне.

* * *

Нам, русским, всегда стараются внушить отвращение к своему прошлому. Когда говорят о своеобразии нашего исторического процесса, то называют татарское иго, самодержавную власть, нищету и темноту народа. Более просвещенные не забывают щегольнуть цитатой из летописи о великости и обильности нашей страны и об отсутствии в ней порядка.

Только в поэзии живет сознание ее необыкновенного трагизма. «О, Русская земля!» Этому горестному восклицанию первого великого нашего поэта XII столетия прозвучали в ответ, через семь веков, с такой же проникновенностью, стихи Блока о России: «Роковая родная страна!..»

Для гордого взора иноплеменного, для «просвещенного» русского шестидесятничества, никакого «рока», конечно, не существует. Кнут, дыба, воеводские поборы, барщина, шемякин суд — вот и весь рок. С приходом к власти большевиков, эта версия сделалась официальной.

Но ложь и оскорбительный для русского интеллекта характер такого объяснения слишком очевидны. Существовало ли когда государство без взяточничества, без коррупции, без злоупотребления властью, без жандармов, притеснений и несправедливости? И впрямь ли далеко ушла Россия, в этом смысле, от Европы? Одних рисунков и эстампов Домье, посвященных французскому правосудию, достаточно, чтобы стусевать и сделать ничтожной фигуру нашего примитивного Шемяки. Никогда в старой России не было таких кошмарных застенков и тюрем, как в просвещенных странах Запада. Были «Грозные Иваны, Темные Василии», но разве не было Христиана II датского, «северного Нерона»? Разве не было Эрика XIV шведского, Филиппа II испанского, «белокурого зверя» Цезаря Борджиа? В русском прошлом не найти ничего похожего на холодную жестокость венецианской Сеньерии, на испанские аутодафе, на альбигойскую резню, костры ведьм, Варфоломеевскую ночь. Про Россию никогда нельзя сказать того, что сказал Вольтер про Англию: «ее историю должен писать палач». И никогда русских крестьян не сгоняли с земли, обрекая на гибель, как в той же Англии, в эпоху первоначального накопления. Никогда эксплуатация крепостных не была более безжалостной, чем в Польше, во Франции, в Германии. Даже при подавлении бунтов и восстаний, русская власть не проявляла такой беспощадности, какую видим на Западе. Расстрел 9 января и карательные экспедиции 1905 г. не идут в сравнение с парижскими расстрелами Кавеньяка и Галифэ. Если же обратиться к колониальным зверствам европейцев, то у самого К. Маркса, описавшего их в 1 томе «Капитала», не повернется язык сравнивать с ними русское освоение Сибири или Кавказа.

Грязи и крови налипло на европейскую государственность несравненно больше, но никаким трагическим фоном для тамошней истории они не служат. Не злоупотреблением властью создан и трагизм русской истории. Россия — страна великих нашествий. Это не войны маркграфов саксонских с курфюрстами бранденбургскими, это периодически повторяющиеся приходы Аттилы и Чингизхана под знаком полного порабощения и уничтожения. Это нечеловеческое напряжение сил, и без того бедной от природы страны, для отражения в десять раз сильнее врага.

Когда кончилась вторая мировая война, во всех театрах показывался документальный фильм: запруженные народом улицы Лондона, Парижа, Нью Йорка, ликующие толпы, радостные лица. Но — вот Москва. Там плачут. Как после Куликовской битвы, люди слезами встречали победу. Если США потеряли в войне немногим больше двухсот, французы — четырехсот, англичане — четырехсот пятидесяти тысяч, то русских погибло, по самым скромным подсчетам, шестнадцать миллионов. Что ни Батый, что ни Мамай, что ни Наполеон, то гекатомбы жертв, то призрак конечной гибели, длительное залечивание ран.

А ведь были и другие вторжения. По русским масштабам, они — «второстепенные», но Запад и таких не знал. Чего, например, стоил набег Девлет Гирея в 1571 году? Вся Москва, за исключением Кремля, сожжена, жители перебиты, либо уведены в плен, а край на сотни верст обращен в пустыню. До миллиона человек сделались жертвами нападения. Это в то время, когда все Московское государство, дай Бог, если насчитывало пять миллионов жителей. Через тридцать лет «Смута» — дымящиеся развалины, опустошенные города, вырезанные селения, шайки иноземных грабителей, гуляющие по всей стране, захваченные врагом Москва и Новгород. Ни один из западных народов не жил под такой угрозой вечного нашествия. Духовные и физические силы столетиями поглощались борьбой со смертельной опасностью, шедшей со всех сторон. Уже киевской Руси, не знавшей

с начала X века покоя от печенегов, половцев, торков, черных клобуков, всякой степной сарыни, пришлось предпринять сооружение линии городов-крепостей по Суле, по Стугне, по Трубежу, переводить для их заселения массу народа с новгородского севера. В Московском Государстве, изнуренном военными налогами и тяглами, силы уходили на выкуп полонянников, на возведение многочисленных каменных кремлей, гигантских городских стен, вроде смоленских, на поддержание «засечной черты» — бревенчатого вала протяжением свыше двух тысяч верст.

До XVIII века продолжались степные набеги, наполнявшие миллионами русских пленников невольничьи рынки Ближнего Востока. Только с сокрушением крымских и кавказских вассалов Турции, угроза с этой стороны миновала. Зато черной тучей поднялась опасность с Запада.

И вечный бой. Покой нам только снится.
Сквозь кровь и пыль...

По словам Арнольда Тойнби, постоянные, начиная с XIII века, угрозы Запада приобрели особенно серьезный для России характер в связи с промышленным переворотом и ростом техники в Европе, когда создалась опасность порабощения ею всего мира.

Тойнби, в противоположность большинству своих собратьев, оказался способным признать, что в продолжение четырех с половиной столетий, вплоть до 1945 г., «Запад был агрессором в полном смысле слова», что Россия только в этом 1945 г. могла вернуть последние части своей территории, отнятые у нее западными державами в XIII-XIV столетиях. Многовековое давление Запада на Русь он считает первостепенным фактором, определившим ее внутреннюю жизнь, в частности, создание самодержавия, без которого невозможно было противостоять завоевательным стремлениям соседей.¹

¹ Arnold Toynbee — “The World and the West” 1953 London, стр. 2-10.

Крупнейшие русские историки — Соловьев, Чичерин, Милюков, придавали военному фактору определяющее значение в русском историческом процессе. Это был тот таинственный перст, что пожаром и кровью вычерчивал наш путь в веках. Он же диктовал суровые законы внутренней жизни — крепостное право для защиты страны, сильную централизованную власть.

* * *

Трагедия России не в одних физических муках и материальных лишениях, она имеет другой аспект, похожий на душевную боль. Ее можно было бы назвать драмой культуры. Есть засушливые страны, где существует постоянная забота о воде. В России, на протяжении всей тысячи лет, ощущался недостаток культуры. Она всегда была заморским импортным товаром и всегда представляла тонкий хрупкий слой, прикрывавший нетронутую еще просвещением стихию. Германским варварам, поселившимся на территории римской империи, она досталась, как дар судьбы; даже камень для постройки городов и храмов им не пришлось добывать — брали из римских руин. Застали еще цивилизованное население, с которым слились и от которого восприняли древнее наследие. Косматые предки Бодлера и Верлена, от которых пахло чесноком и луком, учились стихосложению у Сидония Аполлинария. У кого было учиться русским боянам? Или вкуса к стихам и просвещению у них было меньше, чем у германцев?

Дион Хризостом, посетивший Ольвию в первом веке н. э., нашел культ Гомера на берегах Днепра и Буга. Люди в скифском одеянии, почти все скифы по крови, собирались на площади, чтобы послушать стихи или речь приезжего ритора. Наше Причерноморье раньше других стран Европы, если не считать Италии и юга Франции, подверглось воздействию греческой культуры. Корни, пущенные ею с VII века до н. э., оказались здесь глубже, чем в той же Франции. Скифские стоянки наполнились шедеврами греческого ремесла и искусства. Целые пле-

мена, вроде Каллипидов, Алазонов, Тавров, эллинизировались, восприняли язык, обычаи, религию греков и под конец слились с ними. Но культура не удержалась на берегах Понта. Общий упадок Эллады погубил и ее заморские колонии. Отрезанные от метрополии, они не в силах были противостоять степной стихии. С ними погибло и цивилизованное скифское население — плод многовекового просветительства. Эллинистический период не удался в истории России.

Печальна участь другого расцвета. В X веке, вместе с христианством, воспринята была самая высокая культура в Европе. За короткое время, Киев стал первым после Константинополя городом. До XIII века вряд ли было много на Западе зданий, равных по размерам и роскоши Десятиной церкви, св. Софийам, киевской и новгородской, владимирским соборам, Золотым воротам в Киеве и во Владимире. Возникло множество культурных центров, процветали ремесла, иконопись, книжное дело, деревянное и каменное зодчество. Открытые недавно берестяные письма в Новгороде обнаружили широкое распространение грамотности в народе — явление исключительно редкое в средние века.

И все сметено татарским нашествием.

Очередная катастрофа последовала в XX веке. Востре революции погибли невозстановимые ценности. Уничтожен и без того тонкий слой умственной элиты, оборвана нить преемственности. Россия отброшена к допушкинским временам.

Слов нет, русскому прошлому не выдержать сравнения с сытой, нарядной, комфортабельной историей Запада. Но если Дездемона мавра «за муки полюбила», то нам ли смотреть чужими холодными глазами на многострадальный путь своей родины?

* * *

Восток много грабил, убивал, облагал данью, уводил в плен, но делал это по корыстным, хищническим побуждениям. Яда ненависти в нем не было. Фатальнее

всех катастроф, набегов и разрушений — тысячелетняя вражда Запада. Она едва ли не унаследована от Рима, рассматривавшего все не включенное в границы империи, как враждебное римскому миру. В V веке Галлию наводнили франки и бургунды, ничуть не менее дикие, чем скифы, но с ними, сравнительно, быстро примирились. Тот же Сидоний морщился, делал брезгливую мину, подсмеивался над их варварством, но не отзывался так беспощадно, как о жителях нашей страны, которых он в глаза не видал. Из его восклицаний о «затверделых сердцах этих зверских и суровых народов», об их «ледяных нервах», о «безумных вспышках их зверского и дикого невежества» можно заключить о существовании на заре средневековья пугающей легенды относительно востока Европы.

Через таких, как Сидоний, вражда и презрение Рима к народам русской равнины передались романо-германскому миру. В XIII в. ее уже не в силах была смягчить величайшая катастрофа, разразившаяся над Русью. Именно в роковые 1240-1242 годы, когда татары, разгромив северо-восток, опустошали киевский юг — с запада последовали удары шведов и ливонцев. Что шведы и ливонцы действовали с ведома, согласия, а по некоторым сведениям, и по наущению Европы, это известно.

Еще Фр. Энгельс отметил, что «Римская церковь в средние века объединяла всю феодальную западную Европу, несмотря на внутренние войны, в одно огромное политическое целое, стоявшее в противоречии, как с греко-православным, так и с магометанским миром». Это единство не нарушилось и после реформации. «Россия и Европа», как два разных мира, обозначились очень давно. С самого начала повелось так, что Русь противопоставляли не Австрии, не Франции, не какой нибудь другой отдельной стране, а целой Европе. Выработалось единое для всех частей Запада враждебное отношение к России. В разные времена оно имело разное обоснование — религиозное, политическое, расовое, даже историософское. Создалась обширная литература памфлетов и исторических сочинений, направленных на всяческое посрам-

ление России. Появились поддельные документы, вроде «Завещания Петра Великого», заведомо сочиненные анекдоты («потемкинские деревни»), тенденциозные описания Московии. Наконец, проекты ее военного уничтожения.

* * *

Более 400 лет тому назад возникла идея недопущения России к благам цивилизации. Хорошо известно дело Ганса Шлитте, завербовавшего в 1547 г., по поручению Ивана Грозного, свыше 120 специалистов на русскую службу — врачей, инженеров, художников, каковые не были пропущены в Россию, а сам Шлитте посажен в любекскую тюрьму. Известно, также письмо польского короля Елизавете английской, упрекавшее королеву за позволение своим подданным торговать с москвитом — врагом всей Европы. В письме выражалась боязнь, что если к своей природной силе он приложит знание и технику, он станет непобедимым.

Россия являет единственный в своем роде пример страны, которой пришлось брать культуру вооруженной рукой. Так было при Петре, так было при Владимире. Владимиру, захотевшему ввести у себя православие, пришлось идти походом и, как бы, отвоевать его у Византии. Известно, что Царьград рассматривал христианизацию варваров, как средство включения их в свою государственную систему.

Бой, данный Владимиром Царьграду был боем не за свою «варварскую старину», как выразился проф. А. В. Карташев, а за свободу и государственную независимость Руси. И не христианству давал он бой, а византийскому властолюбию и надменности. То был бой во имя христианства, которого он хотел, но которое ему предоставляли только вместе с рабством. Существуют сведения, что уже перед княгиней Ольгой возникал вопрос о сближении с Римом. К внуку ее Владимиру приходили папские послы. Если бы речь шла только о крещении, оно легко могло быть получено от Рима. Но русские не всякого крещения хотели. На примере чехов

и моравы они знали, что латинство представлено на востоке свирепым, беспощадным тевтонством — могильщиком славян. Латынь изгоняла кириллицу из этих стран с помощью германского меча. Самое же главное, латинство было в их глазах провинциальным явлением в сравнении с греческим православием, так же как вся тогдашняя западная культура была провинциальной в сравнении с византийской. Борьба за греческий обряд была борьбой за высшую и сознательно облюбованную христианскую культуру.

Но цивилизованный мир в лице Византии уже тогда предстал нам во образе такой гордыни, что Владимиру, несмотря на взятие Корсуня и на собственное крещение, так и не удалось, повидимому, получить христианство для Руси из Константинополя. После труда М. Д. Приселкова, историческая наука все больше склоняется к мысли, что православие пришло к нам не от греков, а от болгар, из охридской патриархии. Только позднее греки приняли русскую церковь в свою юрисдикцию. Высокомерие византийцев задолго до Владимира испытала на себе его бабка Ольга, ездившая креститься в Константинополь. Она там натерпелась столько унижений, что вернувшись в Киев, нагрубила императору.

• * *

Если так встретила Русь православная Европа, чего же было ждать от Европы неправославной? Она до сего дня продолжает оставаться неизменно враждебной. Трагичен для нас не факт ненависти самой по себе, а то, что она исходит от предмета нашей любви. Мы успели полюбить Запад упорной, неизлечимой любовью — его «острый галльский смысл», его «сумрачный германский гений». После Петра, вся физиология нашей умственной жизни неразрывно связана с физиологией Запада. У нас нет иного пути, кроме западного. Но какие тернии растут на этом пути! Мы — единственный народ обложенный высокой духовной пошлиной при въезде в Европу. Цена нашего европеизма определяется умением

с легким сердцем отряхнуть прах своей родины или «сладостью отчизну ненавидеть», как Печорин и Чаадаев. Тип подлинно русского европейца не принимается Европой.

Гитлеровские войска, старательно уничтожавшие русские культурные ценности в петербургских пригородах, в Новгороде, в Париже и в Праге, выдали факт живучести на Западе давнишней неприязни к сочетанию слов: «культура» и «Россия». За двести лет наше западническое лицо ничего кроме плевков или снисходительных усмешек не получало от Европы. Но мы стали пользоваться бешеным успехом как только обернулись к ней «своею азиатской рожей». Оказалось, что это то и есть истинный европеизм. Теперь уже не одни миллионные толпы распропагандированного темного люда, но добрая половина ученого, литературного, артистического Запада сделала Москву своей Меккой. Презиравшаяся и ненавидимая столица национальной России поднята ныне на щит как столица мирового коммунизма. Запад любит советский коммунизм — создание своего духа, но ненавидит Россию историческую. От его первоначальной антисоветской идеологии ничего не осталось, она вся подменена идеологией антирусской. Ошеломляющая эпопея космических полетов приписывается не русскому гению, а победам коммунизма. Когда за границей гастролирует русский балет, в газетах можно прочесть выражения восторженной благодарности: «Spasibo Nikita Sergeevich!»; но все коммунистические перевороты в Китае, в Индокитае, в Лаосе, в Индонезии единодушно относятся за счет «извечного русского империализма». Политические лозунги Запада зовут не к свержению большевизма, а к расчленению России. Нам приходится быть свидетелями триумфального шествия советского имени по всему свету и небывалого поношения имени русского. Ни в СССР, ни за границей нет ему заступников.

Но не убоимся своего одиночества, своей малочисленности! Отмечая 1100-летие Руси, мы призваны заявить о нашей любви к той России, чей образ связан с ее именем и запечатлен историей. Сколь бы горестен ни был ее путь — он наш путь, и мы не смеем, как говорил В. Розанов, бежать от своей биографии и подставлять на место мотивов из нее, мотивы чужих биографий.

Вместе с Пушкиным скажем, что другой истории, кроме той, которая у нас была — не хотим. История, родина, как отец и мать не выбираются, не ищутся, а даются судьбой. За это таинственное веление судьбы, за титаническую борьбу с драконом, за устремление к свету чтим мы старую Россию — родину всех великих ценностей, созданных нашим народом.

Уж сорок пять лет, как ее естественное национальное развитие прервано, страна поставлена на службу интернациональным коммунистическим целям, превращена в робота мировой революции. Еще немного и не станет помнящих ее дореволюционного прошлого. Но останется история. Истина, лежащая в основе ее, как науки и как явления, не погибнет. Это только для Мефистофеля, слугителя «вечного Ничто», «прошло и не было — равны между собой»; для Того, кому он проиграл бессмертную часть Фауста, «прошло» отмечено той же ценностью, что «есть» и «будет».

День, посвящаемый отечественной истории, подобен дню поминовения родителей. В старину верили в заступничество предков. Надо верить и нам. Верить в непостижимые законы России, в ее иррациональное начало, во все, что подметил Блок и что вылилось у него в стихе: «И невозможное возможно...»

Если правда, что умершие поколения управляют судьбами народов в неменьшей мере, чем живые, то есть еще у нас заступники.

Поверим же в чудо русской истории! Поверим в возможность невозможного!



Президиум торжественного собрания в Нью-Йорке в 1962 году, посвященного 1100-летию Государства Российского. У попитра Н. И. Ульянов, за столом проф. Н. С. Тимашев, кн. С. С. Белосельский, проф. Одинцов, Б. С. Сергиевский, Г. И. Новицкий, кн. Багратион-Мухранский.



Слева направо стоят: Н. И. Ульянов, Г. И. Новицкий, проф. Н. С. Тимашев, кн. С. С. Белосельский.

СОДЕРЖАНИЕ

I

Десять лет	7
После Бунина	25
Гумилев	49
Об историческом романе	59
Соблазны истории	65

II

Тень Грозного	73
Из давних споров	100

III

Замолчанный Маркс	119
Большевизм и национальный вопрос	148

IV

Роковые войны России	163
Северный Гальма	176
Исторический опыт России	200



Профессор Н. И. Ульянов пишет об истории увлекательно, как профессиональный литератор, и о литературе — с точностью и обстоятельностью профессионального историка. Статьи, представленные в этом сборнике охватывают широкий круг тем (Толстой, Гумилев, Блок, Бунин, Иван Грозный, Александр Первый, Маркс), но все они посвящены вопросам, так или иначе волнующим русскую эмиграцию, ее литературным опытам, творческим достижениям, историческим проблемам. Статьи "Замолчанный Маркс", "Роковые войны России", "Северный Тальма" анализируют судьбоносные явления русской истории.

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

- "Исторический опыт России", Нью-Йорк, 1962.
- "Северный Тальма", Вашингтон, 1964.
- "Происхождение украинского сепаратизма",
Нью-Йорк, 1966.
- "Диптих", Нью-Йорк, 1967.
- "Под каменным небом", Нью-Хэвен, 1970.
- "Свиток", Нью-Хэвен, 1972.
- "Сириус", Нью-Хэвен, 1977.
- "Спуск флага", Нью-Хэвен, 1979.